

В наши дни срок, за который предметы выходят из употребления, сокращается стремительно и неумолимо. Предметный мир вообще начинает быть призрачным — одноразовым или виртуальным, — и это не может не сказаться на нас, людях, этот мир порождающих и от этого мира зависящих. Только представить: тысячи лет бытовая жизнь человека почти не менялась. Мир вещей, окружавший Сократа или Марка Аврелия, был примерно таким же, как мир, окружавший Шекспира, Сервантеса, Пушкина. Люди писали перьями при свечах, сражались мечами и шпагами да ездили на лошадях — и так длилось целые тысячелетия. И лишь в XIX веке — веке пара и электричества — начались перемены под названием “научно-технический прогресс”. А ныне лицо предметного мира меняется так быстро, что мы порою не успеваем запомнить ни облика, ни имён тех предметов, что мелькают пред нами. И если раньше предметы нередко переживали людей — вещи деда служили и внукам, и правнукам, — то теперь, наоборот, люди переживают предметы, которые остаются лишь разве в музеях — и в памяти. Настоящее так стремительно превращается в прошлое, что история, можно сказать, дышит нам с вами в затылок и наступает на пятки: то, чему мы были свидетелями в дни нашей юности, для нынешней молодёжи почти так же загадочно и незнакомо, как эпоха какого-нибудь палеолита. Представьте, что к нам явился бы живой неандерталец и стал бы объяснять технологию изготовления каменного топора или ловушки для мамонта. Вот, похоже, такими

неандертальцами для молодёжи теперь являемся мы, люди прошлого века — со своей исторической памятью и ностальгией по старым предметам.

АВОСЬКА. Мы начнём наш словарь с чудесного, нежного слова “авоська”. За этой верёвочной сеткой, которую так легко было сунуть в карман, чтобы после при первой возможности наполнить её тем, что Бог послал, встаёт целая жизнь. Но вот иностранцам, да и нынешней молодёжи — для нас тоже, в сущности, иностранцам, то есть живущим в иной стране, чем жили некогда мы, — объяснить смысл авоськи не так-то и просто. Именно смысл, а не её примитивно-простое устройство, до которого мог бы додуматься даже ребёнок. Авоська — это сетка с двумя рукоятями, которые, помнится, резали пальцы, когда содержимое сетки было тяжёлым. И авоськи имелись двух видов: совсем уж простецкие, из хлопчатобумажных верёвок, которые быстро пачкались и рвались, так что такую авоську было проще выбросить, чем починить или отстирать, и побогаче, из скользких и прочных шёлковых шнуров. В шёлковой было что-то змеиное, юркое: она всё норовила выскользнуть из руки или кармана.

Разными могли быть и рукояти. Чаще они делались из того же шнура, что и вся авоська, но могли быть и из тонких кожаных ремешков. С такою авоськой не стыдно было и показаться на люди: вот, мол, умеем мы жить, и продукты таскаем не в чём попало! Но вообще-то авосек тогда не стеснялся никто: их мог достать из кармана любой, от простого рабочего до академика, потому что вера в “авось”, то есть в благоприятный и неожиданный случай, жила в сердце каждого.

Вот мы и вышли к той самой загадке авоськи — неотделимой, быть может, от загадки русской души, — которую иностранцам бывает непросто растолковать. Как им объяснить, что многие из продуктов, которыми мы кормились в советские годы, появлялись на магазинных прилавках внезапно и необъяснимо — почти как манна небесная, — и никто не мог предсказать, когда и где именно это произойдёт? Но к такому счастливому случаю готовился каждый — он верил в него, он его ждал, — и поэтому обязательно имел при себе эту самую ловчую сетку-авоську, из которой удача никак не должна была ускользнуть.

Всё же странно, что в мире тогдашней плановой экономики мы жили по принципу: “Вдруг повезёт?” Но этот же принцип — жизнь “на авось”, на удачу — является, можно сказать, отличительным признаком всякого русского, и вовсе не только советского человека. Вера в “авось” — это вера, в конце концов, в промысел Божий; и жить с авоськой в кармане — значит жить именно тем, что Бог даст. А если не даст — что ж, не बारे, потерпим до завтра: будет день — авось, будет и пища.

И что ещё было трогательно в авоське — откровенность той жизни, которой служила вот эта простецкая сетка из мягких верёвок. В ней всё было настолько открыто и напоказ, что эта её откровенность сама по себе служила важнейшим демократическим — то есть равняющим всех — фактором тогдашнего существования. Вспомните, как шли тогда, лет сорок назад, люди по улице, как чуть не каждый второй помахивал сеткой-авоськой и как во всех этих сетках содержалась, в общем-то, одинаковая добыча. Ну, что там могло попадаться в наши ловчие сети? Буханка хлеба да бутылка кефира или молока, золотистая шайба каких-нибудь “Килек в томате”, кулёк с макаронами серого цвета (причём серыми были и макароны, и содержащий их бумажный кулёк); если авоська принадлежала мужчине, не редкостью был портвейн “Три семёрки” (в просторечии “Три топора”) или бутылка водки с зелёной (“Московская”) или красной (“Столичная”) этикетками. И авоська доверчиво нам говорила — как бы от лица того человека, в чьи пальцы врезалась её рукоять: “Да, нам скрывать нечего: что вы сейчас видите, тем мы и сыты...”

Но в этой же самой её откровенности и простоте содержалась и некая тайна. Была ли то тайна “загадочной русской души”, так в чём-то похожей на сетку-авоську: вот он, мол, я, весь наружу, прост и открыт, да к тому же и гол, как сокол, — приходи и бери (а попробуй-ка взять!)? Или то была

тайна той жизни, которую без авоськи так же трудно представить, как и без красного знамени или портретов вождей? Да, эта жизнь была скудной, куда скудней нынешней — иначе б не рыскали мы у магазинов и не стояли бы в очередях, теребя свои сетки-авоськи, — но в чём-то она была очень богатой и щедрой. В ней была та надежда на лучшее, та “уверенность в завтрашнем дне” — это словосочетание было, кстати, официально-газетною формулой тогдашнего существования, — которую и выражала собою любимая наша авоська.

Правда, поймать в эту ловчую сетку вот именно то, чего так ждала, по чём так томилась душа, так и не удавалось. Недаром же сказано: “Счастье наше — как вода в бредне: тянешь — надулось, а вытащил — пусто...” Вот и мы со своими авоськами-бреднями (правда ведь: есть в них что-то похожее?) бродили в поисках счастья и не теряли надежды встретиться с ним — вот-вот, казалось, увидишь, поймаешь его! — но наши авоськи так и оставались, по сути, пустыми. Ведь, по большому-то счёту, не масло и не колбаса нам были нужны, а нечто иное, невыразимое и неумовимое...

БАМБУКОВЫЕ УДИЛИЩА. Чего, казалось бы, прозаичней и проще: пара-тройка лёгких, узловато-суставчатых палок, которые соединялись при помощи трубок из жёлтой латуни? Удилище двухколенное стоило, помнится, два шестьдесят; трёхколенное, если не ошибаюсь, три двадцать. Но “трёхколенка” для нас, подростков, была тяжеловата — да и до столь серьёзных рыбалок, где она была необходима, мы ещё не доросли, — и поэтому главным удилищем нашего отрочества была “двухколенка”. Мы долго, придирчиво выбирали её в магазине, где и выбор-то было всего из трёх-четырёх удилищ! Мы нежно гладили пальцами её полированные колена и мотвила из проволоки, примотанные красной шёлковой нитью, затем собирали удилище, воткнув трубку в трубку, и потом глазом, словно бы целясь, выверяли его прямизну. Затем встряхивали весь гибкий хлыст, взяв его за комель, — не стучат ли соединения? И всё, что мы делали там, в магазине, было согрето мечтою о будущих — непременно удачных! — рыбалках. Уже вернувшись с покупкой домой, я всё не мог успокоиться, снова собирал удилище, которое едва помещалось в комнате и то и дело запутывалось упругой вершинкой в тюлевой занавеске окна, и, обмирая от ожидания счастья (которое и само было счастьем!), воображал, как я гибко взмахиваю этим хлыстом — и в самом деле взмахивал им, — и как мои поплавок и крючок летят точно в “окно” между лаковых листьев зелёных кувшинок. На какое-то время поплавок замирал, торча наискось в гладкой тёмной воде, над своим симметрично-косым отражением, и я замирал вместе с ним; потом на красный его оголовок садилась ярко-синяя стрекоза, и тоже удваивалась, отражаясь в зеркальной воде. А потом — о, как я ждал этой сладкой секунды! — поплавок начинал как бы втягиваться сам в себя, сближаясь с собственным отражением, пока не исчезал в воде совершенно, и удивлённая стрекоза не взлетала, дрожа, над пустой гладью затона. Я взмахивал кистью — бамбуковый хлыст повторял мой рывок, — и до напряжённой руки, через дугу пульсирующего удилища доходило самое, может, прекрасное, что есть в рыбалке: тугое сопротивление глубины...

И это были едва ли не лучшие из моих рыбалок: посреди комнаты, с бамбуковым двухколенным удилищем во вспотевшей от напряженья руке, в окружении тех ощущений и образов, что так щедро дарило подростку его юное воображение. Никогда после, в реальности, я не ловил таких же огромных язей или карпов и не рыбачил в таких же прекрасных, воистину райских, местах, как там, куда вводили меня молодые мечты. А бамбуковое удилище — оно и было проводником в этот мир грёз, оно сообщало ему достоверность и подлинность: грёзы грёзами, а удилище — вот же оно, со всеми своими узлами и трубками, с упруго дрожащей вершинкой и с блеском своих лакированных гладких колен.

Конечно, я не хочу сказать, что реальность меня непременно разочаровывала: нет, в ней случались рыбалки, если и не рекордные по количеству

или размеру пойманной рыбы, то уж, по крайней мере, такие, о которых доселе радостно вспоминать. Например, ужение голавля на кузнечика, в котором, кстати, именно бамбуковое удилище было главной деталью всей снасти. Кроме него, был ещё метр тонкой доски, да крючок номер четыре (помните, сверстники, старую нумерацию рыболовных крючков?). И вот с такой примитивнейшей снастью я, таясь, пробирался под нависавшие ветви раkit, тень которых отчётливо-резко лежала на глади речного, озарённого солнцем, глубокого омута. По этой глади порой проплывали сухие ивовые листья, пробегали, пуская круги, водомерки, похожие на миниатюрные лодки-двойки, и туда же, меж пятен лиственной тени, я опускал своего кузнечика и, не дыша, принимался легонько постукивать им о поверхность воды. Я как бы передавал телеграфный сигнал — точки, тире, снова беглые точки — вглубь омута. И, хоть не сразу, и далеко не всегда, но порой голавли отзывались на мой телеграфный призыв. Сама глубина и тьма омута словно сгущалась, медленно приближаясь к поверхности и обретая сначала размытые, но всё более выятные очертания неторопливо всплывающих рыб. Осторожные голавли могли, вздрогнув, вновь раствориться в толще воды, а могли, едва помавая хвостами, лениво приблизиться к пляшущему на поверхности кузнечику. Это был напряжённый момент — моё сердце то замирало, то вновь принималось стучать, подрагивая точь-в-точь, как этот несчастный кузнечик, — и я хотел только одного: чтобы рыба поверила мне. Голавли покрупнее — те редко клевали на мой простодушный обман; разве какой-нибудь глупый подросток (такой же наивный, как и я сам) мог сторяча ткнуться носом в кузнечика и, не почувяв крючка, попытаться с ним скрыться в речной глубине. Тогда я подсекал — удилище гнулось, — и серебристая рыба, разбив зеркало омута, взлетала, вся в радуге брызг, под склонённые ветви раkitы!

Из пяти подсекаемых так голавлей четыре срывались и превращались из прежних наивных подростков в опытных, тёртых парней: что называется, понюхавших пороха. Выходит, я как бы участвовал в воспитании молодой рыбной поросли нашей речки Калужки. И в самом деле: три-четыре подобных рыбалки приводили к тому, что голавли совершенно невозмутимо проплывали мимо напрасно пляшущего кузнечика, и в небрежном движении их колыхавшихся, с темной каймою, хвостов я чувствовал как бы презренье к моим тщетным попыткам снова их обмануть. И получалось, что я ходил на Калужку уже не столько за рыбой — улов был ничтожен, — сколько ради общенья с водой и нависшими ивами, с пятнами лиственной тени на глади реки и с журчанием близкого переката — общенья со всем, из чего состояли те жаркие полдни. Да и сейчас, когда я воскрешаю всё это в памяти, разве я вспоминаю о рыбе? Нет, я вспоминаю о счастье, которое, как хорошо нам известно, живёт либо в будущем, либо в прошедшем, но очень редко заглядывает в настоящее.

БРЕЗЕНТОВАЯ ПАЛАТКА. Именно в брезентовой палатке я провёл свои первые походные ночи — берег Угры, жаркое лето семьдесят первого года, мне семь лет... И теперь при словах “райские кущи” я представляю себе что-то вроде палатки из бледно-зелёного, выгоревшего на солнце брезента, в скаты которой, как в тугой барабан, время от времени ударяет упавшая с дерева сосновая шишка.

А запах брезентовой старой палатки с тех самых пор стал для меня любимейшим запахом. Он менялся — и вместе с погодой, и вместе со сменой мест, где стояла палатка. В нём ощущалось то смолисто-сухое дыхание матёрого бора — того, где по рыжим иголкам снуют муравьи, по деревьям прыгают белки и где на ладони, едва обопрёшься о ствол, остаётся помарка клейкой сосновой смолы; то запах сена, оханку которого ты выдернул из стожка на приречном лугу и бросил в палатку, чтоб мягче спалось; то горячий дымок костерка, в котором ещё, как матрёшка в матрёшке, различался то рыбный запах ухи, то сытность печёной и чуть подгоревшей картошки; а порою, когда приходилось вставать в молодом сосняке под весенним дождём, твоя голова ощутимо хмелела от спиртового острого запаха свежих сосновых побегов.

Что ярко запомнилось из тех первых вёсков в палатке на берегу Угры, так это вечерний обряд выкуривания комаров. Перед тем, как нам всем забраться в палатку на краткую летнюю ночь, моя мама нагребала из костра в пустую консервную банку полдюжины раскалённых сосновых шишек — они были похожи на распустившиеся огненные цветы — и с этим тлеющим дымным кадиллом скрывалась под брезентовым пологом. Палатка тогда наполнялась белым дымом, который валил отовсюду: из входа, из маленького сетчатого окошка, и даже сочились сквозь стены и скаты. И, разумеется, первым, кого маме удавалось выкурить из палатки, была она же сама: задыхаясь и кашляя, она на четвереньках выбиралась наружу, а отец начинал торопливо зашнуровывать вход. Да, не забыть: вход той палатки закрывался не теперешней “молнией”, а заплетался при помощи брезентовых петель и деревянных палочек, и кропотливая процедура расшнуровывания, а затем зашнуровывания палатки (выговорить, и то трудно!) длилась так долго, что выкуренные комары преспокойнейшим образом успевали в неё возвратиться. Но даже прерывистый звон комаров под брезентовым скатом был почти так же сладок, как и тот юный сон, в который ты погружался стремительно и неукротимо.

А утром тебя ожидало ещё одно чудо. Случалось, что мы пробуждались под стрёкот дождя по туго натянутым скатам и долго не могли выбраться даже не то, что из спальников, но не могли выпутаться из той лениво-блаженной дремоты, какую всегда нагоняет вкрадчивый утренний дождь. Но странное дело: зеленовато-рыжие скаты палатки светились, как будто снаружи их озаряло солнце. Это свечение было настолько заметным, что отец, потянувшись, довольным голосом произносил:

— О, вижу солнце! Я же говорил — сегодня будет погода...

— Какое солнце? — насмешливо возражала мама. — Ты что, не слышишь дождя?

— А ты что же, не видишь света? — стоял на своём отец.

Разрешить их спор было несложно: стоило расшнуровать палатку. Действительно, сыпал мелкий, задумчивый дождь — такой уж если зарядит, будет лить целый день, — и ни просвета не было видно в набрякшем и сером, как будто войлочном небе. Увидев всё это, я испытывал одновременно и разочарование — всё-таки дождь! — и недоумение: как же так? А откуда же свет? — и восхищение удивительным свойством нашей палатки, способной и пасмурный день озарить как бы солнечным светом. И, конечно, я не спешил выйти наружу, в мельтешащую серость дождя, а, сколько мог, оставался в палатке, любясь тем загадочным светом, что даже в отсутствие солнца умудрялся напоминать нам о нём. Откуда он был, этот свет? Неужели всего лишь брезентовый выцветший полог, напитанный влагой, производил удивительный этот эффект?

Свет брезентовой старой палатки, впитавшей так много солнца, что потом, даже в хмурые дни, оно словно светило под её пологом, — этот свет ощущался, конечно, не мною одним. Чуть не вся страна в годы, которые позже назвали “застойными”, — по крайней мере, её молодёжь — стремилась к походным кострам и палаткам как к самому лучшему, чем тогдашняя жизнь могла нас одарить. О чём мечтали тысячи инженеров за кульманами своих НИИ или студенты на скучных лекциях, или, скажем, врачи на бессонных дежурствах? Да о том, как они, увязав рюкзаки и обув кеды, в свой летний отпуск махнут, куда подальше — благо, страна наша и велика, и обильна разнообразными чудесами.

И романтический этот порыв — как пелось в песне, “за туманом и за запахом тайги” — был неотделим от брезентовой старой палатки, приютившей не одних только тел, утомившихся за дневной переход, но и душ, так мечтающих о красоте и свободе. Во многих песнях, что молодёжь распевала в ту пору, — пусть даже костры и палатки в них не упоминались — содержалась мечта о далёкой дороге, о трудностях и романтическом неуюте, о расставаниях, без которых не может быть встреч; словом, скучная жизнь “здесь и теперь” решительно отвергалась ради иной, лучшей жизни, что обязательно будет “там и потом”.

Помните, сверстники, ангельский голос певца по имени Анна Герман, что пел нам о свете далёкой и незнакомой звезды? Я до сих пор удивляюсь тому, как могла быть популярна эта христианская, в сущности, песня в стране победившего атеизма? Ведь слова “светит незнакомая звезда” — это, по сути, отдалённое напоминание о звезде Вифлеема; а надежда, которая воспевается в песне, — понятие глубоко христианское.

Думаю, с нами произошло вот что: наш бедный разум, подчиняясь тому, что буквально бивали нам в головы ещё со школьной скамьи, отвернулся от веры; но наша душа — христианка по происхождению — не хотела отречься сама от себя и продолжала любить и надеяться, верить и жить, несмотря на печальное заблуждение разума. И эта душа-христианка звала нас в походы, к манящей и незнакомой звезде, и заставляла петь песни возле костра, а потом забираться в палатки, где так сладко спалось и мечталось...

БУМАЖНЫЕ БУСЫ. Что ещё исчезает так же незаметно и неудержимо, как молодость? Причём сначала это молодость твоих родителей: и с ней расставаться едва ли не горше, чем с собственной юностью. Сам в себе долго не замечаешь старения, как и не веришь, что когда-либо умрёшь, а вот то, что происходит у тебя на глазах, чему ты ежедневный и многолетний свидетель, куда очевиднее, чем незаметное угасание собственной жизни.

А молодость моих отца с матерью — это шестидесятые годы прошлого века. Вряд ли какая ещё из эпох в обозримой русской истории оставила столько же светлых и романтических воспоминаний, как пресловутые шестидесятые. В то время страна только-только пришла в себя после великой войны и, можно сказать, расцвела на её пепелищах. Это эпоха поэтов, собиравших целые стадионы слушателей — ныне такое не под силу даже поп-звёздам! — эпоха, когда портреты бородатых отцов коммунизма потеснил ещё один бородач, писатель Хемингуэй в грубом свитере; это эпоха романтики странствий и песенных фестивалей, споров “физиков” с “лириками”, эпоха побед и надежд — эпоха, озарённая светлой улыбкой Гагарина.

Но среди множества лиц, событий, предметов тех лет, достойных быть символом шестидесятых, я выбрал бумажные бусы. Знаете, как украшали себя тогдашние молодые красавицы и среди них — моя мама? Ведь большинство студентов тогда были бедны, как церковные мыши, — где уж им было раздобыть денег на настоящие бусы? И приходилось брать выдумкой, на которую голь, как известно, хитра. Самым ярким и красочным из общедоступных предметов тогда был журнал “Огонёк” — тоже, кстати, один из символов шестидесятых, — и, если нарезать из его разноцветных страниц треугольничков, а потом скатать их в трубочки, покрыть лаком и нанизать на длинную нить, то получались чудесные — лёгкие, яркие! — бусы. На сохранившихся фотографиях молодой моей мамы есть и такие вот бусы; и в них (точной, в том, как я их себе представляю) для меня заключается чуть ли не главное знание об эпохе шестидесятых. Нечто детски-наивное, празднично-светлое, очень смешливое было в бумажных тех бусах из “Огонька”; такую же точно была и эпоха, которую эти бусы расцветчивали своей незатейливой, яркой и трогательной красотой. Но бумага — всего лишь бумага; и сами те яркие бусы, и радость, что связана с ними, была очень непрочной, недолгой — почти эфемерной. Да что там бумажные бусы — когда и сама-то бумага, глядишь, очень скоро окажется в списке исчезнувших вещей.

Но, с другой стороны, даже металл или камень — и те, в конце концов, обращаются в прах; неким таинственным образом сохраняются только идеи вещей, их нетленные образы, надолго переживающие сами предметы как таковые. Вот и разноцветные бусы из скрученных в трубочки треугольничков яркой бумаги, что украшали юные шеи красавиц шестидесятых годов, — не прочнее ль они и гранита, и бронзы, то есть всего, что так неуклюже-серьёзно пытается увековечить любую эпоху? И радость, и память о ней живут дольше, чем вещи; а уж в чём её, радости, было хоть отбавляй, так это в лукавых, нарядных — как будто всё время смеющихся! — двух нитках бус на шее моей молодой и тоже смеющейся мамы...

ВАТНИК. По-настоящему, ватник достоин памятника (как и кирзовые сапоги, о которых мы ещё поговорим) — хотя бы уже за одно то, что он был главной зимней одеждой солдат последней великой войны. Миллионы жизней были им сохранены: и от смертельного холода, и от осколков снарядов и мин, терявших убойную силу в спасительной стёганой вате.

Но ватник был главной одеждой не только солдат. И зеки за проволокой лагерей, и шофёры на разбитых дорогах, и бабы на стылых колхозных полях, и геологи в тундре, и пастухи, и строители, и работники в холодных цехах — для всех ватник был даже не просто одеждой, а словно бы частью их собственных тел, без которой нельзя было жить и работать. Пожалуй, самый дотошный историк костюма не сыскал бы одежды столь же всеобщей и столь же национальной, как серый стёганый ватник в России двадцатого века. Недаром сейчас слово “ватник” означает даже не столько одежду, сколько национальный менталитет; но те злопыхатели, что хотят этим прозвищем унижить Россию и русских, своего не добьются: нам не пристало стыдиться ни нашей одежды, ни нашей истории. Так, в Нидерландах некогда слово “гёзы” (то есть оборванцы) из оскорбления превратилось в гордое имя борцов за национальную независимость; возможно, и слово “ватник” мы научимся произносить со спокойною гордостью и с благодарностью к этой, некогда не заменимой для миллионов одежде.

Рассмотрим же его, ватник, поближе. Мне кажется, в нём есть что-то общее со среднерусским пейзажем: неярким и скромным, не бьющим на внешний эффект, порой даже унылым, но всегда задумчивым и тёплым. И, как стежки, которыми ватник прострочен, не дают ему сбиться в бесформенный ком, так бывает “простёган” и русский пейзаж: то дорогой, то тропкой, то речкой, то нитками железнодорожных путей, то колокольней сельского храма — тем, что не даёт ни пейзажу, ни всей нашей жизни расплыться в аморфно-бессмысленной каше.

А серый цвет ватника — тоже цвет очень русский. Это цвет деревянного сруба, простоявшего много лет на дождях и ветрах; цвет деревянных мостков над неяркою серой рекой — тех мостков, где, бывало, в тумане слышался стук бабьих вальков; цвет внимательных глаз белокрысых детей, играющих в серой дорожной пыли; это цвет, наконец, невысокого русского неба, так часто хмурого, сеющего дождём, и в этой сосредоточенной серой печали так чем-то похожего на всю русскую жизнь.

И до чего же он, ватник, душевен! Стоит вдеть руки в его рукава, застегнуть его петли, как начинает казаться, что ты, наконец, вошёл в дом: натопленный, тёплый, радушный. Больше того: лишь надев ватник, я чувствую, как вполне становлюсь сам собой. Он словно бы заполняет незримый, но ранящий душу зазор между внешним и внутренним и заглушает своей утешительной ватной прослойкой тот зуд непрерывной тревоги, что обычно так свойственен мне.

Да, ватник скромен и добр, терпелив и вынослив, то есть он воплощает едва ли не лучшие русские качества. И, заметьте: при всей своей мягкости, при скромно-смирнном, совсем не воинственном, виде ватник практически несокрушим. Его даже сжечь, и то невозможно: он будет, конечно, дымиться и тлеть, но огонь никогда не охватит его целиком. А если окажешься в ватнике под осенним дождём, он, конечно, делается тяжёлым и волглым, но всё равно защитит тебя от холодной воды, прикрыв слоем хотя и намочшей, но всё ж согревающей ваты.

И вот я думаю: а что, если, расставшись с ватником, как с повседневной и повсеместной одеждой, Россия утратит какие-то важные национальные качества? Утешает лишь то, что, если именно в нынешней жизни нас, русских, называют “ватниками” — значит, мы с вами доселе способны к труду и терпению, к скромности и доброте, к незлобности и бескорыстию, способны ко всем тем лучшим проявлениям человеческой сути, какие собой воплощает вот этот смирнный и несокрушимый предмет: русский стёганый ватник.

ГАЗИРОВКА. А не выпить ли нам стакан газировки — точнее, не вспомнить ли, как это делалось полвека тому назад? Ведь происходящее с нами в реальности — выше хоть целую бочку — не утоляет глубиной

жажды души; зато питьё, что подсаживает нам память, порою способно утешить нас — оросить, так сказать, те кремнистые пустоши жизни, что оставили мы за свою спину.

Без стакана газировки прожить жаркий день в городе было трудно. Когда асфальт плавился, когда синий дым бензиновых выхлопов висел над перекрёстками, когда город и все его жители были близки к безумию, тогда надпись “Газированная вода” воспринималась, как весть о спасении. Но следом за вспышкой радости возникало и два опасения. Первое — есть ли в твоём кармане одно- или трёхкопеечные монеты? Их ценность в жаркие дни вырастала чуть ли не десятикратно; случалось, за неимением трёхкопеечной, бросить в щель аппарата монету в пятнадцать копеек — и весом своим, и размером тоже способную выбить из автомата порцию газировки.

Вторым опасением было — есть ли стаканы? Гранёный стакан в те пригнопамятные времена был вещью, необходимой не только нам, детям, для услаждения нас газировкой, но и тем мужикам, что где-нибудь неподалёку тихим благостным вечером распивали “бормотуху”. Вот они-то, случалось, и забирали стаканы, и далеко не всегда их возвращали. Кое-где для борьбы с похитителями стаканов даже пытались заковывать их в кандалы (то есть заковывали, разумеется, стаканы, а не их похитителей), в этикие железные хомуты на цепочках; правда, держали эти оковы плохо, и стаканы продолжали исчезать — особенно пятого и двадцатого числа каждого месяца, в дни получек или авансов.

Но предположим, что нам повезло, и в кармане есть трёхкопеечная монета, а в нише газировального аппарата поблёскивает гранёный стакан. Этот стакан — после множества губ, что его лобызали — желательно было ополоснуть. А устройство для ополаскивания было забавным: притопашная решётка, нажимаемая в которую перевёрнутым стаканом, ты выдавливал бьющие в донце струи воды. И вот стакан мокр и чист, он сияет-переливается каждой из граней, теперь его можно подставить под сосок, из которого вот-вот с шипеньем ударит струя газировки. Но чтобы эта струя зашипела, надо протолкнуть в щель монетоприёмника “трёшку” и желательно — вдогон звякнувшей и провалившейся монете — стукнуть кулаком по аппарату. Без такого удара газировка бывала какой-то невкусной; зато при удачном ударе аппарат, получивший всего лишь копейку, мог растеряться и выдать полноценную порцию воды с сиропом. А если, случалось, ты был при деньгах, то есть у тебя оказывалось целых две трёхкопеечные монеты, ты мог шикануть и позволить себе газировку удвоенной сладости. Поскольку сначала наливался сироп, а уж потом он разбавлялся шипучею газированною водой, то вовремя вынув стакан из-под струи, а потом повторив всю эту процедуру, можно было получить сладчайший напиток. Впрочем, до такого разврата мы, дети целомудренной советской эпохи, опускались нечасто. С нас было довольно и того — поразительно свежего и веселящего! — ощущения бьющего в ноздри и в голову газа, которым был так богат каждый стакан газировки. И когда много после нам пришлось познакомиться со вполне уже взрослым шампанским вином, наверное, каждый из нас испытал что-то вроде разочарования. “Да, неплохо, — рассеянно думали мы, вертя в пальцах золотистый и пенный бокал далёкого (и, скорее всего, незаконного) отпрыска рода Клико. — Но, честно сказать, газировка была всё же вкуснее...”

ДАВКА В АВТОБУСЕ. Вот ведь что делает время: то, что некогда было досадной и малоприятной частью обыденной жизни — теперь, спустя много лет, оборачивается иной стороной. И ныне я, кажется, много дал бы за то, чтобы вновь очутиться в глубоких, живительных недрах той, давней — советских времён — автобусной или троллейбусной давки.

Слова “сплочение” или “единство”, которые мы так часто слышали или читали, так и остались бы мёртвыми и ничего не значащими словами, если бы мы дважды в день и на собственной, что называется, шкуре не ощущали, что значит “сплотиться”. Ведь давка в автобусе или троллейбусе, которую мало кто из работающих горожан мог миновать — она и была совершенно конкретным и осязаемым актом сплочения. Где ещё можно

было почувствовать столь же тесное единение с народом, в котором ты жил, как не во время транспортной давки в час пик?

Начиналась она ещё на остановке, когда все, волнуясь, готовились к предстоящему штурму дверей и, переходя с места на место, занимали позицию, с которой удобнее будет вонзиться в людскую тесную гущу, чтоб затем на всё время пути стать её неотъемлемой частью. То есть важно было предугадать: где же именно притормозит и откроет двери водитель? Допустим, ты выбирал место правильно, дверь распахивалась прямо перед тобой, и тебя просто-напросто заносила в салон волна напирających сзади людей. Был, правда, и ещё способ уехать в набитом автобусе, но он требовал и немалой физической силы, и молодой дерзости. Всё время посадки ты стоял чуть поодаль, наблюдая за судорогами осаждавшей автобус толпы. Когда же автобус, кренясь, медленно трогался, и последние неудачники осыпались с его подножек — вот тогда ты прыгал на спины людей, что теснились в дверном проёме, и крепко-накрепко ухватывался за поручень. Пассажиры возмущённо кричали; набирающий ход автобус так завывал и дрожал, словно хотел тебя сбросить с подножек. Но ничто не могло разжать твою хватку. И мало-помалу все те, кто кричал-возмущался, смирились: ну, не сбрасывать же парня на полном ходу? Все как-то дружно посовывались, выдыхали, втягивали животы — и дверь-гармошка, наконец, закрывалась за твоей спиной.

И вот это был миг настоящего счастья! Не просто автобус, а люди, что ехали в нём, тебя, наконец, принимали... С этой минуты ты был вместе с ними, ты был как бы их неотъемлемой частью, и на тебя, несмотря на всю тесноту-духоту, на то, что ты еле стоял на одной ноге (да и эту-то ногу сейчас беспечно давил чей-то острый каблук), на тебя нисходил глубочайший покой. Ты почти засыпал, убаюканный качкой автобуса и надсадным гуденьем мотора, успокоенный именно той теснотой, той автобусной давкой, в недрах которой ты так хотел быть и вот, наконец, оказался. И было, по правде сказать, не так уж и важно, куда и как долго вы будете ехать; хотелось, чтоб длилось и длилось твоё пребывание в гуще людей, в тесных недрах народа, который тебя, наконец, допустил до себя и позволил тебе разделить его участь и путь.

Не ты один — все успокаивались и смирились по мере того, как автобус, гудя и кренясь (и ещё плотней утрамбовывая пассажиров), одолевал ухабы дороги. Теснота ли, сознание ль общей судьбы, или жалость к себе и другим, столь жестоко измятым, но что-то будило во всех и участливость, и доброту, и желанье помочь тем несчастным, кому в этой давке приходилось совсем уже худо. И вот, глядишь, уступали сидячее место старушке, вот отодвигали створку окна перед лицом побледневшей и задыхавшейся девушки — да ещё и участливо осведомлялись: “А ты, милая, не беременна ли?” — вот дружно смеялись чьей-либо шутке, — словом, толпа так недавно ещё враждовавших, кричавших, толкавших друг друга людей превращалась в большую семью.

Да что говорить! Когда приближалась твоя остановка, и гармошки дверей раскрывались за твоею спиной (а для этого надо было кому-то толкнуть их снаружи), тогда ты отрывался от тёплой, сплотившейся массы людей с неожиданным сожалением. И, спрыгнув с подножек, ты почти что с тоскою смотрел вслед удалявшемуся автобусу. Тебя в этот миг утешало лишь то, что ты твёрдо знал: очень скоро ты снова окажешься в недрах животворящей автобусной давки.

ДВОРОВЫЕ ИГРЫ. Что ещё исчезло, так это стайки пацанов, увлечённо играющие во дворах, как и истошные крики мамаш, безуспешно зовущих своих чад к ужину. Ну, конечно: большинство подростков ныне увязло в тенетах всемирной Сети — где уж им вспомнить дворовые игры! А ведь когда-то они были важнейшей частью жизни: мальчишка просто-напросто не мог вырасти, совершенно их миновав.

Попробую вспомнить, как мы играли. И первое, что приходит на ум, — это швырянье друг в друга различных предметов, от репьев или горсти песка

до увесистых и довольно опасных камней. Вот уж, действительно, протигра, уходящая в столь архаичную древность, что начало её теряется в дебрях антропогенеза. И с тех незапамятно-давних времён смысл этой первичной игры остаётся двойственно-противоречив. С одной стороны, бросить в другого чем-либо — это значит стараться его прогнать: пошёл, дескать, вон! Но, с другой стороны, попадание в другого каким-то предметом — копьём, камнем, палкой — означает его приближение и присвоение себе: этот другой становится как бы твоею добычей. И если это игра, то игра в её полном, всегда зыбко-двойственном смысле, когда, с одной стороны, я швыряюсь в тебя и тем самым гоню тебя прочь, но с другой стороны, хочу, чтобы ты стал мне ближе.

Кому не случалось кидать репьи в девочек и зло хохотать, когда эти колючие цепкие шарики попадали им в волосы, путали пряди, а девчонки, визжа, или гнались за вами, грозя кулаками, или, плача, бежали домой, чтобы мать привела им в порядок причёску? Но в душе-то хотели мы вовсе не этого визга и слёз, а того, чтоб девчонки всего лишь обратили на нас внимание. Или вспомним уже их, девчачье, швыряние в нас чем ни попадя — щепкой, веткой, игрушкой, да ещё с воплем: “Уйди, противный!” — которое часто бывало, на самом-то деле, призывом: “Останься!”

Правда, больше кидались мы всё же друг в друга, чем в девочек, порой устраивая целые дворовые войны. И, помнится, лучшим снарядом для этих сражений были комки сухой глины. Даже попав тебе в лоб, они рассыпались в пыль и не наносили серьёзных увечий; зато если такой комок разбивался о стену, о землю или ствол дерева, то получался настоящий маленький взрыв, с пыльным облачком, медленно — как в военном кино! — отплывающим в сторону.

Но покидай-ка вот так час-другой — хоть комки глины, хоть копыя из длинных побегов полыни (чернобыльник рос всюду), хоть камни, — какой ты ни будь здоровяк, рука твоя скоро устанет. И, естественно, приходили мысли о том, как бы эти швырянья-метанья усовершенствовать — как, скорее всего, приходили они и каким-нибудь низколобым, сутулым и страшным обитателям палеолита. Луки и самострелы — вот что было следующим уровнем наших дворовых игр (как и уровнем развития человечества: здесь наш дворовый онтогенез повторял общечеловеческий филогенез). Из чего и как делать луки — или, тем более, разнообразные самострелы — это, конечно, предмет не короткой статьи словаря, а большого и обстоятельного исследования. Скажу лишь несколько слов о метательных устройствах моего дворового детства: почему-то их я запомнил гораздо отчётливей — чем, скажем, девчонок, рядом с которыми рос.

Итак, самодельные луки. Чаще всего и сам лук, и стрелы к нему мы делали из ровных побегов орешника — благо, в ближайших к нашей окраине перелесках лещины росло хоть отбавляй. Изготовить лук было несложно. Берёшь ножик “Белка” (см. “Нож “Белка”), срезаешь подходящий ореховый прут — из него, кроме лука, выйдет ещё пара стрел — и, сделав ножом насечки для тетивы, привязываешь верёвку к одному, а затем к другому рогу лука, сгибая при этом ореховую дугу. Со стрелами — точнее, с их наконечниками — возни было больше. Кто-то, особо усердный, делал наконечники из жестяных конусов; кто-то набивал на ореховый прут остроносую пулю, предварительно выплавив из неё свинец (который шёл на грузила) — а уж пулято, и немецких тупоконечных, и русских остроконечных, на нашей окраине мы находили сколько угодно: война наследила здесь на полвека вперёд. Но проще всего было взять гвоздь и примотать его к ореховому пруту медной проволокой: этого добра — и проволоки, и гвоздей — тогда много валялось повсюду. Стрела получалась — одно загляденье. Приставишь, бывало, её к тетиве, вскинешь лук, туго натянешь — аж побелеют дрожащие пальцы, с трудом удерживающие стрелу, — и в момент выстрела что-то так и оборвётся в груди, словно мощный, со свистом, вылет стрелы ненароком задел твоё сердце...

Мощь наших луков мы проверяли не столько стрельбой по мишеням или на дальность (поди-ка потом разыщи невесть куда канувшую стрелу!), а, чаще всего, выстрелом в небо. Это было и красиво, и, прямо скажем, опасно.

Натянешь лук, нацелишь гвоздь-наконечник в зенит, выстрелишь и с замрачением сердца следишь, как стремительный штрих улетающей в небо стрелы уменьшается, тает, становится точкой и совершенно теряется в солнечной сини. Но вдруг из слепящей глаза синевы опять появляется чёрная точка — уже и не точка, а чёрный стремительный штрих! — и он угрожающе-быстро растёт, и несётся обратно на ваши поднятые к небу и враз побледневшие, лица...

— Атака! — раздаётся пронзительный крик, и вы все бросаетесь враспынную: хотя кто может знать, в какую именно точку двора вонзится свирепо летящая с неба стрела?

Самая ходовая модель самострела представляла собой деревянное ложе с желобком и с тугою резинкой, выбрасывавшей стрелу. Если лень было мастерить настоящий спусковой крючок, можно было обойтись и собственным пальцем, которым просто-напросто приподнималась стрела с бородкой-упором на хвостовой её части: упор соскакивал, и стрела вылетала. Били те самострелы достаточно сильно и точно: курицу или даже собаку вполне можно было сразить. Но в собак-то, понятное дело, мы не стреляли — мы их любили, — а стреляли по разным мишеням.

Были ещё духовые ружья из металлических лыжных палок. В эту длинную полую трубку вкладывалась заострённая вязальная спица с примотанным к ней куском поролона — и получалось нешуточное оружие. Прицелишься, коротко дунешь — словно кашлянешь — в трубку, и острейшая спица бесшумно и сильно летит так далеко, что лишь по цветному куску поролона её потом можно найти. Если б у нас, как у американских индейцев, был ещё яд кураре, так те наши спицы вообще могли быть смертельны.

А рогатки? Они были различны: от совсем несерьёзной, сделанной из алюминиевой проволоки, с тонкой резинкой (она называлась “венгеркой”), стрелявшей проволочными “гнутиками”, — до толстой деревянной развилины, к рогам которой приматывалась резина, вырезанная из медицинской грелки. Убойная сила такой рогатки была страшной, особенно если “пулей” служил стальной шарик подшипника.

Словом, игрушки-“стрелялки”, сопровождавшие наши дворовые игры, всё более тяготели к оружию и, по сути, в него превращались, как и мы сами из подростков мало-помалу превращались во взрослых парней. И кто кого вёл за собой в этом совместном взрослении, сказать трудно: то ли мы сами, постепенно мужая, мастерили всё более серьёзные орудия, то ли наши игрушки, взрослея, как бы подтягивали нас за собой? А скорее всего, процесс был обоюдный: то, что мы сделали своими руками, начинало влиять и на нас, и вот мальчишка, который только вчера мастерил детский лук, сегодня с сопением забивает заряд в пистолет-“поджигу”, с которым вполне уже можно идти на серьёзное дело. Так что свой курс молодого бойца прошли мы все — те, кто рос в настоящих дворах, с увлечением играя в дворовые игры.

ЕЗДА “ЗАЙЦЕМ”. Продолжим транспортную тему. Ныне, когда и в автобусах, и в маршрутных такси платят, что называется, чистоганом — с трудом вспоминается, как когда-то мы отрывали билеты или пробивали проездные талоны. Причём, начиная с детства и до времён поздней юности, я пережил несколько поколений кассовых аппаратов. Когда-то автобусная касса являла собою коробку с прозрачною верхнею крышкой и с колесом на боку. Бросишь в прорезь пятикопеечную монету, повернёшь колесо — и касса высунет язык автобусного билета. Можно было, конечно, крутить колесо и безо всяких монет, и отрывать билеты бесплатно; но в те наивные годы предполагалось, что совесть — лучший контролёр: на эту тему вещали и многочисленные развешанные по автобусам плакаты.

Но с совестью, видимо, пошло что-то не так — и со временем кассовые аппараты стали куда недоверчивей. Теперь надо было толкнуть в щель монету, затем нажать лязгающую клавишу, и только в обмен на монеты аппарат мог тебе выбросить бумажный билет.

Дальше — больше. Вместо кассовых аппаратов появились компостеры — иначе говоря, дыроколы, которыми ты, войдя в автобус или троллейбус,

должен был продраться заранее купленный талон на проезд. Получалось, что, продавая проездные талоны заранее, государство брало у нас, своих граждан, взаймы, а тому, кто начинает брать в долг, да ещё по такой мелочёвке, ни доверия, ни уважения ждать не приходится. Переход на талоны уже был симптомом упадка, но мы, молодёжь, о таких вещах особо не думали. Мы, знай, просовывали талоны в щели компостеров, с хрустом нажимали рычаг или клавишу (модели компостеров тоже менялись), и видели, как из-под дырок сыплются крошечные кружочки бумаги. И это всё было чем-то вроде общей игры, в которую прилежно играли все пассажиры, от школьников до стариков.

Но была и ещё игра: ездить “зайцем”. Почему безбилетников называли именно так, для меня до сих пор загадка. Не дед же Мазай Некрасова — тот, кто бесплатно перевозил зайцев в лодке, — припечатал всем будущим безбилетникам это потешное прозвище?

“Зайцы” в советское время не переводились. Больше того, думаю, что любой гражданин страны, хотя бы раз в жизни, но побывал в “заячьей” шкуре. Для нас же, детей, езда “зайцем” была одной из любимых игр. Причём она была именно игрой, то есть тем, для чего не было никакой очевидной причины или необходимости: уж что-то, а пятак на проезд был в кармане у каждого. Но эта игра щекотала нам нервы, пугая и забавляя одновременно. Это было похоже на воровство яблок в соседских садах; уж конечно, не голод заставлял нас перелезть в сумерках через заборы и торопливо набивать яблоками карманы, а скорее желание перейти грань дозволенного, чтобы в этот момент испытать, насколько же прочен я сам и весь окружающий мир? И когда, уже после набега, оказывалось, что в мире ничего коренным образом не изменилось и что твой проступок не сокрушил его, мира, основ, вот именно это, а вовсе не кислые яблоки было главной наградой за твой дерзкий порыв.

Что-то подобное было и в езде “зайцем”. Риск оказаться уличённым и пойманным был хоть и невелик — грозные контролёры с сумками на боку появлялись нечасто, — но он всё же был и наполнял наши “заячьи” души ожиданием и восторгом опасности. Каждый думал: “Ух, каков я!” — и одновременно боялся быть пойманным; и вот эта смесь страха и дерзости, так щекотавшая юные души, нас и привлекала.

Но сейчас, с расстоянья в полвека, я вижу ещё один смысл в той игре. Ведь мы, норовившие ездить бесплатно, как бы боролись за лучшую, чистую жизнь, против тех товарно-денежных отношений, что возвращали нас в мир, где царят чистоган и нажива. Мы, дети-“зайцы”, бессознательно выражали как раз ту бескорыстную формулу светлого будущего — “каждому по потребностям”, — которая была заявлена в качестве государственной идеологии.

Не потому ли и те контролёры, что грозно вставали над нами, — а это обычно бывали утомлённые толстые тётки, с одышкой протискивавшиеся меж пассажирами, — оказывались на поверку не такими и страшными? Тем более, мы, уличённые детки, начинали жалобно ныть и канючить, вызывая к их состраданию. И что было делать им, тёткам, со своей неустребимою добротой? Конечно, для виду они ругались, но часто, махнув рукой, разрешали нам ехать дальше. И мы, прощённые “зайцы”, тогда сознавали, до чего же добр и надёжен тот мир, в котором мы жили вот уже десять или двенадцать лет! Да, этот мир замечает все наши проказы, но он достаточно мудр и силен для того, чтобы не унижаться до наказания.

ЖЕНСКАЯ НАГОТА. Возможно, на этой странице вы засмеётесь: эх куда, мол, хватил! Да нагота сегодня не только не исчезла, но назойливо нас окружает. И уж если где ей, наготе, и место, то в словаре не исчезнувших, а обрётённых вещей.

Но не спешите потешаться над наивностью и близорукостью автора. Я не слепой, и уж что-то, а женскую наготу замечаю. Зато я сознаю и другое: когда чего-то избыток, когда это “что-то” назойливо лезет в глаза и превращается в нечто обыденное и вездесущее, тогда оно вовсе перестаёт для нас существовать. Посетите ради эксперимента нудистский пляж — ручаюсь, что

очень скоро вы перестанете замечать вокруг себя голых людей. Это не говоря уж о том, что нагота, как она есть, — в голом, так сказать, виде, без прикрытий и украшений — чаще всего неприглядна.

Так что новейшее время, обрушив на нас в изобилии женскую наготу, её у нас словно отняло. Можно подумать, что кто-то, заботящийся о нашей нравственности, применил такой неожиданный воспитательный ход — и достиг своего: он почти отбил у нас вкус, интерес и азарт к восприятию обнажённого женского тела.

А так ли — в этом месте я воздымаю руки и закатываю глаза — так ли было когда-то?! Подростками, а затем юношами мы и жили-то, можно сказать, лишь надеждой увидеть кусочек запретного и недоступного женского тела. Взметнётся ли чья-либо юбка выше коленей — коленей, вид которых и сам по себе уже заставлял наши сердца биться чаще, — и мы, как внезапною всыпшкой, бывали ослеплены белизной, гладкостью и бесконечностью (именно бесконечностью!) женских сходящихся бёдер, которые продолжались всё выше и выше, в пространства, совсем уже непредставимые и недоступные нашим незрелым умам... Потянется ли стройная одноклассница стереть тряпкой мел со школьной доски, и при этом движении её блузка немного поднимется, приоткрыв бледный впалый живот, — так этот живот потом тебе будет мерещиться ночью. Или, когда молодая учительница наклонялась над партой, показывая, где ты сделал ошибку в тетради, близость выреза женского платья с душистым и нежным началом груди так тебя оглушала, что учительнице лучше было тебя ни о чём не спрашивать: на эти секунды ты терял способность к членораздельной речи. То есть каждая из мимолётных встреч с женским телом (и даже не всем целиком, а всего лишь частицей его) была одновременно и праздником, и потрясением.

Но раз жизнь в те пуританские годы была так чопорно-сдержанна и так скупотом отмеривала нам женскую наготу, так, может, хотя бы кинематограф утолял нашу юную жажду? Как бы не так! Это уже много после экраны оказались завалены “обнажённой”; а тогда, за всю кино-юность, я запомнил лишь два эротических эпизода, но зато уж таких, что уверенно вызывали эрекцию у всей мужской части страны. Один фильм был про индейцев: там гибкая юная “скво” ныряла в озеро с береговой скалы. В мелькнувшем пролёте её над водой ничего было толком не разглядеть; но само осознание того, что мы видим, хотя бы издалека и на киноэкране, совершенно голую женщину нас потрясло. А другой фильм был про войну: девушки мылись там в бане, и одна из них — редкостная красавица! — на целую секунду оборачивалась с экрана, во всей своей голой красе, к миллионам ошеломлённых мужчин. Думаю, если б с экрана по нам, зрителям, реально застрекотал пулемёт, мы и то были бы меньше поражены.

Так что нагота была редкостью и, стало быть, настоящею ценностью, которую, как всякую ценность, следовало оберегать от назойливых глаз или рук. И вот как раз к её защите и было призвано женское нижнее бельё советской эпохи. Это были, по сути, рыцарские доспехи: не всякому из мужчин (и, тем более, неопытным юношей) удавалось с ходу преодолеть его, белья, героическое сопротивление. И оно не подчёркивало и не выявляло, как ныне, всех пленительных прелестей женского тела, а, напротив, настолько скрывало их, что только очень красивая женщина могла позволить себе, без угрозы для собственной привлекательности, надеть, скажем, “трусы с начёсом” или бюстгальтер отечественного производства. И только действительно мужественный мужчина, в чьей крови не то, что горел, а пылал гормональный огонь, мог не смутиться и не растеряться при виде того, что должно было отбить у него всяческое желание. Ибо, конечно, один вид женщины в том “бронезилете”, который являл из себя бюстгальтер на пуговках, должен был вызвать у коварного соблазнителя или половое бессилие, или приступ раскаяния.

А каково было этот бюстгальтер расстёгивать — где-нибудь в темноте летней ночи, на укромной скамье, — да ещё одной левой рукой, потому что правая безуспешно пыталась отвести руки девушки, упорно защищавшие грудь (которая, впрочем, и так была надёжно защищена этим треклятым

бюстгальтером)? Круглые скользкие пуговицы выворачивались из пальцев и не пролезали в тугие петли, да и девушка непрерывно вертелась, дышала, смеялась, и поэтому твои пальцы то и дело срывались с застёжек, как солдаты с крепостной стены, которую они долго и отчаянно штурмовали. Каждая расстёгнутая пуговица была очередной удачей — вот, взял ещё, и ещё один бастион! — но упорство и силы штурмующих были всё-таки не бесконечны. Порой приходилось и заключить перемирие, и отступить, отложив штурм до другого удобного случая.

Но бывали порой и победы. Наконец, отлетала последняя из неподдававшихся пуговиц, напряженье тугого бюстгальтера сразу слабело, он куда-то сбивался, и тот неприступный, упорно сопротивлявшийся город, который ты штурмовал, — горячая, мягкая женская грудь — наконец-то сдавался на милость и на торжество победителя...

ЗЕМЛЯНЫЕ ПОЛЫ. Конечно, большая часть предметов или явлений, о которых я вспоминаю, относится к той советской эпохе, в которой я вырос. Но в памяти сохранилось и нечто такое, что уходит корнями в совсем уже давние времена. Так, я хорошо помню земляные полы курских хат, а это нас отсылает не только к началу двадцатого века, ко временам бунинской “Деревни”, но и ещё дальше, куда-то в бездонную глубь чуть ли не домонгольских времён. В сущности, земляные полы служат символом вечной скудности русского деревенского быта. Где земляные полы, там и мазанки под картофельной бурой ботвой, и печки, топившиеся соломой, и окошки размером в четыре ладони, и сугробы до крыши, и телёнок, зимующий вместе с людьми. А ещё земляные полы — это засухи, голоды и моры, революции, войны, пожары, это всё то, что веками терзало русскую жизнь и заставляло искать защиты и помощи в том неизменном и главном, что оставалось всегда. Земля для крестьянина, как окоп для солдата, была и защитой, и домом — испокон веку погорельцы селились в землянках, — и местом последнего успокоения. Не оттого ли деревенские жители степного русского Юга долго не отгораживались от земли никакими полами-настилами, а, напротив, старались быть к ней, Земле-матери, как можно ближе?

Я земляные полы не просто отчётливо помню, но, кажется, и до сих пор ощущаю босыми ногами их прохладную гладкость. В соседнюю хатку, где одиноко жила наша дальняя родственница, которую все звали Нинкой, я, бывало, нырял, словно в прорубь: до того был резок контраст между знойным, сияющим блеском огромного летнего дня и прохладой, что вдруг окружала меня в тесных сумерках хаты. В первый миг после яркого света я не видел почти ничего, поэтому шаг-другой через сени делал наощупь, словно слепой, и только внутри самой хаты начинал различать какие-то смутные контуры и очертания. Но всё равно зрение мало чем помогало — печь, стол, лавку и крошечное оконце я скорее угадывал, нежели мог разглядеть, — больше работали прочие органы чувств. Так, босыми ногами я ощущал прохладные, твёрдые, гладкие земляные полы, с наслаждением чувствую, как в них уходит избыток полдневного зноя, так изнурявший меня, пятилетнего, в тот давнишний, почти незапамятный, день. Мой слух был наполнен гудением мух, сложно выющихся вокруг липкой ленты, свисающей с низкого потолка. Те из мух, что уже были пойманы за крыло или лапку, брызжали особо надрывно, а мои ноздри наполнял вездесущий картофельный запах. Им здесь было пропитано всё: и скаты крыши, заваленные курчавой ботвой, и чугунок с поросычей похлёбкой в углу, и кастрюля с варёными клубнями, стоявшая на загнетке печи. Казалось, вынь из хаты картофельный запах — и она тут же рухнет, потому что вся здешняя жизнь держалась одною картошкой.

Что делал ты в низких сумерках хаты? Скорее всего, просил у хозяйки напиться — ведро с водой стояло у двери на лавке — и, пока жадно пил, держа кружку в дрожащих руках, вода текла по груди, животу, проливалась на пол, и ты чувствовал, как земля под ногами становится словно намыленной.

— Смотри, не поскользись, — звучал голос Нинки, хозяйки, которую я сейчас, как ни напрягаюсь, никак не могу разглядеть. Не знаю, виноваты ли в этом сумерки хаты или слабость моей неизбежно тускнеющей памяти?

Надо же: самую Нинку не помню, а полы в её хате помню так явственно, словно и в эту минуту стопы моих босых ног ощущают прохладу и твёрдую гладкость утоптанной, чисто выметенной земли. И, какие б жилища я ни посещал с тех пор, для меня неизменно точкой отсчёта, домом как таковым всегда была именно Нинкина хатка с её теснотой, прохладой и сумраком, с вездесущим картофельным запахом и земляными полами, на которых веками держалась русская жизнь.

ИМПЕРИЯ. Написал сейчас слово “империя” и подумал: а разве она исчезла, и разве ей место в моём словаре? Наша Россия даже сейчас — и по территории, и по населению, и по охвату различных народов, входящих в неё, — страна, несомненно, имперская. Но с другой стороны, тот, кто знал империю прежнюю, которая называлась “Советский Союз”, кто ощущал её именно как свою Родину (была даже песня: “Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз”), тот не может не сравнивать прошлого с нынешним и не может не чувствовать, что теперешняя Россия — всего лишь громадный имперский обломок.

Нет, я не стану кадить фамиям на имперских руинах. Я знаю и помню, что в империи по имени “СССР” было много тяжёлого, тёмного, бесчеловечного, начиная с её уродливого названия, об которое с непривычки можно сломать язык. Я знаю, что все империи, в том числе наша, почившая, стоят на костях и крови, держатся насилем и принуждением. Но я чту старинное правило — “*De mortuis aut bene, aut nihil*” — и хочу вспоминать лишь хорошее.

И вот тут моя память — интересно, моя ли одна? — ведёт себя странно. Нет, чтобы вспомнить имперскую мощь — все эти марши, парады, монументы и грандиозные стройки, — но она, моя память, прежде всего воскрешает наивность империи. Или это мы сами, люди советской эпохи — те, кто как раз и несли в своих душах и судьбах черты всей огромной, из нас состоявшей, страны — это мы были такими, и наши тогдашние свойства образуют, в своей совокупности, портрет государства “Советский Союз”?

В чём проявлялась тогдашняя наша наивность? Например, в том, что мы верили: мир, окружающий нас, неизменен и вечен. Само время, несущее перемены, было как бы вынесено за скобки нашего тогдашнего сознания и существования; “сегодня” до неразличимости напоминало “вчера”, а “завтра” могло быть лишь только таким, как “сегодня”. Какие-то мелкие перемены, конечно, случались, но это всё было на уровне изменений погоды или новостей с футбольного чемпионата; основной же массив нашей жизни лежал, как мамонт в вечной мерзлоте, и время, казалось, обходило его стороной. Что ни вспомнить — пивную ли в дымном угаре, портреты ль вождей на стене, отчёты ль с очередного партийного съезда, которые до неотличимости, из года в год, повторяли друг друга, облик ли наших тогдашних городов, дворов, улиц, квартир — всё будто оцепенело. Засышая, мы твёрдо знали, какой мир встретит нас завтра: да тот же самый, привычный до скуки, но и до боли родной и знакомый.

И все черты, свойства, качества этого мира казались извечны и неизменны; они, как мы были уверены, существовали так же давно, как законы природы, и их, как законы природы, было невозможно утратить или отменить. Разве могло быть, скажем, образование или здравоохранение каким-либо, кроме бесплатного и общедоступного? Нет, конечно, мы слышали или читали в газетах, что где-то там, в ином мире — где-то у антиподов — всё было не так, но на то они и антиподы, чтоб выворачивать всё наизнанку.

Или разве могло быть такое, чтобы живой человек вдруг остался без куса хлеба и без крыши над головой? Да сама мысль об этом была бы крамольной и дикой: бездомные и голодные люди жили только на страницах классической — или зарубежной — литературы.

А преступность? Мой отец, выросший в небольшом посёлке Тим, что на Курщине, рассказывал: на весь Тимской район был один-единственный (!) участковый милиционер по фамилии Помарока — и тому, за нехваткой серьёзных преступников, приходилось порою гоняться и за пацанами, похитителями чужих яблок в поселковых садах.

А дружба народов? Сейчас можно сколько угодно пронизировать над этим — да, во многом наивным — сочетанием слов; но я, живший в те годы и бывавший в тех странах, что ныне от нас отделились, не замечал ничего, хотя б отдалённо напоминавшего национальную рознь. Искренней дружбы, быть может, и не было; но сила и мудрость империи, не допускавшей выплеска тёмной (по сути, звериной) вражды меж народами — эти мудрость и сила держали страну в рамках мирного сосуществования.

Ещё можно вспомнить искусство империи — те, образно выражаясь, цветы, что распускались на её многоствольном, раскидистом дереве. Ведь даже и ныне, спустя много лет после развала Союза, мы смотрим фильмы и слушаем песни, которые создавались тогда, потому что теперешних фильмов и песен, сравнимых с имперскими, создать не способны. Я уж молчу о литературе. Стоит только назвать десяток самых известных сегодня российских писателей и сравнить их с десятком крупнейших писателей советской эпохи, как это вызовет у людей, хоть что-либо смыслящих в литературе, гомерический хохот: это всё равно, что поставить рядом карликов и великанов.

И всё это жило и процветало в империи, под её защитой и кровом, словно под крышей громадной оранжереи, защищавшей нас от сквозняков и морозов внешнего мира. Но мы-то, советские люди, во-первых, почти не замечали и не ценили того, что тогдашняя жизнь нам так щедро дарила и что мы принимали как должное; а во-вторых, были твёрдо уверены в том, что благоденствия и дары этой жизни неисчерпаемы и бесконечны.

Откуда только взялась в нас такая наивность, доходящая чуть ли не до слабоумия? Как могли мы поверить, что всё, чем мы пользуемся, среди чего мы живём, нам дано даром и навсегда? И только нашей предельной наивностью, доходящей до глупости, можно объяснить то, как мы бессильно, бездарно расстались со всем, что имели. Когда всё, чем мы жили, чем так беззаботно, капризно и беззастенчиво пользовались, стало ускользать из рук, у нас неостало ни сил, ни решимости просто-напросто сжать кулаки, чтоб удержать хоть небольшое из ускользавших имперских даров.

Да что теперь говорить! После драки кулаками не машут, тем более что никакой драки и не было. Остаётся лишь помянуть “империю СССР” добрым словом — она того, право, заслуживает. И потом, ведь этой империей были мы сами... Да, наивные, да, избалованные, как дети, и неспособные сами себя защитить и ценить. Но ведь и мы, и страна, что из нас изо всех состояла, мы всё же были, мы действительно существовали, а это уже есть великое счастье, заслуга и благо.

ИСЧЕЗНУВШИЕ ВЕЩИ. Пожалуй, стоит немного поговорить об исчезнувших вещах, как таковых, о том, как они умудряются, даже уйдя из обихода, всё-таки жить где-то в памяти и оттуда согреть настоящее пусть и слабым, но всё ж ощутимым теплом.

Затевая писать этот словарь и думая, что он будет звучать в печально-прощальной тональности — как расставание с миром, в котором я некогда жил, — я с удивлением вижу и чувствую, что происходит вовсе не расставание, а новая встреча. Лишь после разлуки я обретаю способность увидеть предметы или явления прошлого в их полном объёме и в их настоящем значении. Когда я, ещё юношей, жил среди них, я и думать не думал об их глубине или смысле. Теперь же, отодвинувшись от минувшего на несколько десятилетий, я вижу его как бы в полный рост, то есть, по сути, впервые встречаюсь с прошлым по-настоящему.

Не забудем, что память, к которой мы все прибегаем так часто, и без которой просто-напросто неспособны существовать, есть процесс созидательно-творческий. Неправильно думать, что наша память — это нечто вроде кладовой, на полках которой, в порядке или беспорядке, хранятся воспоминания; и неправильно думать, что вспомнить что-либо — это значит всего лишь отыскать нужную полку, а на ней найти нужную банку или коробку. Вовсе нет. Вспоминая о чём-то, мы это “что-то” заново воссоздаём. Поэтому об одном и том же событии разные люди нередко вспоминают по-разному. Кому не случалось приходить в изумление от несовпадения собственных

и чьих-либо воспоминаний? И поэтому даже один человек, в разное время вспоминая о чём-то из своего прошлого, получит, возможно, разные воспоминания.

И это не мой личный вымысел, а то, что говорят нам учёные. Память есть именно творчество; а настоящее творчество — это всегда сотворенье того, чего ещё не было. Но тогда резонно будет спросить: а не грош ли цена всему тому, что мы вспоминаем? Например, моему словарю? Было ли то, о чём я пишу, в самом деле или это лишь плод моего обращённого в прошлое воображения?

Вопрос очень сложен, и ответ на него не может быть прост. Да, отчасти я как бы творю своё прошлое заново, как и любой человек создаёт себе собственный, зыбкий и переменчивый, образ минувшего. Но с другой стороны, разве не было в нашем прошлом такого, что одинаково сильно волнует всех, кто причастен к нему? И вот именно старые вещи — те, среди которых мы все с вами жили, — создают нам единый, устойчивый и несомненный фундамент наших воспоминаний. Попробуйте посидеть с кем-либо из сверстников за рюмкою, что называется, чаю и повспоминать, ну, скажем, о телефонных будках или магазинных прилавках тех лет, о том, сколько стоили ливерная колбаса или килька в томате, об автобусной давке в час пик или молочных бутылках с крышками из серебристой фольги, об аппаратах газированной воды, вокруг которых в жару вились осы, о мини-юбках, кримпленовых платьях или туфлях на платформе, о грампластинках, которыми торговали с рук в подворотнях, о проигрывателях или печатных машинках, о писчих перьях, чернильницах и пресс-папье — кто сейчас помнит, что это такое? — о пионерских галстуках и комсомольских значках, о том, что такое “сообразить на троих”, об авоськах и ременных креплениях лыж, о деревянных спичечных коробках — обо всём, словом, том, из чего ваша жизнь состояла и чем была окружена. И вы увидите, как ваше общее прошлое оживает и приближается к вам; оно уж не будет казаться чем-то вымышленным и недостоверным — нет, оно как бы усядется с вами за стол, сам-третьей, и вы будете уж не печалиться о разлуке с ним, а праздновать долгожданную встречу.

КАТУШКА НИТОК. Что-то давно я не видел простой деревянной катушки для ниток — вещи такой повседневно необходимой, что её изображение встречало нас, помнится, уже в “Букваре”. Неужели и ей пришло время исчезнуть и быть заменённой скучными пластиковыми бобинами?

А вот катушка — особенно послужившая, с выбоиной-щербинкой на деревянном бортике — она никогда не бывала скучна. Даже просто взять её в руку и повертеть в пальцах, и то было приятно. Сухая шершавость её бочковин и ребристость намотанных ниток так ласкали кожу руки, что на лице человека с такою катушкой в руках почти всегда появлялась улыбка, как появляется она и у меня, когда я всего лишь вспоминаю о ней.

Может, эта улыбка — память о том, что катушка нередко бывала одною из первых игрушек младенца? И сама по себе, и образующая, вместе с подругами, нанизанными на шнурок, ожерелье или погремушку, она встречала младенца уже в первые дни его жизни, когда он начинал знакомиться с тем, из чего состоит окружающий мир.

Спустя некое время он обязательно видел такую катушку в руках своей матери или, может быть, бабки, которая, сидя возле кровати, под внимательным взглядом ребёнка чинила одежду, возможно, и напевая при этом колыбельную песню. И разве же не испытывал каждый младенец в такие минуты глубокий, блаженный покой, который потом, уже в будущей суетной жизни, он вряд ли когда-либо мог испытать?

А спустя ещё время подросший ребёнок — особенно девочка — уже и сам пробовал заниматься рукоделием. И опять было не обойтись без катушки ниток, без её тёплой шершавости, без сплюявого кончика нити, который ты, сопя от усердия, просовывал в ушко иглы, и порой без котёнка, который, сбив лапой катушку с твоих колен, загонял её, словно мышшь, под диван, где уже пыхлились две-три таких же похищенных резвым котёнком катушки.

Словом, катушка ниток была постоянным и обязательным спутником жизни. И она обозначала совершенно особое отношение к миру вещей — то, которое современность стремится изгнать. Катушка была символом целого, уходящего в прошлое, мировоззрения, материальной основой того, что социологи называют “обществом ремонта”. А ведь мы с вами в этом обществе некогда жили и даже не представляли себе, как это старую или негодную вещь можно просто-напросто выбросить, не постаравшись её починить или хотя бы найти ей новое полезное применение. “Общество ремонта” настолько отличалось по фундаментальным взглядам на жизнь от современного “общества потребления”, что порой кажется, что это две различные цивилизации. Сегодня вещи принципиально не ремонтируются. То, что испортилось, надоело владельцу или просто-напросто вышло из моды, тут же заменяется новым предметом, который при первой замеченной в нём неисправности тоже будет безжалостно выброшен в мусорный бак.

Апофеоз же “философии потребления” — это одноразовые предметы, список которых растёт с каждым годом. Я уже не говорю об одноразовых сумках-пакетах или пищевых контейнерах, об одноразовых тарелках или стаканах, носовых платках или полотенцах; в разряд одноразовых давно уж попали зажигалки и шариковые авторучки, медицинские халаты и хирургические скальпели, мангалы для пикников или пляжные тапочки. Да и прочие вещи, которые нас окружают, — одежда, мебель, автомобили — тоже изо всех сил стараются стать одноразовыми, срок их службы стремительно сокращается. Одежда и обувь нам служат сезон или два, мебель или автомобили — в лучшем случае, несколько лет. Кто-то, может быть, скажет, что это удобно и современно — не занимать своё время, руки и голову проблемой ремонта негодных вещей. Но я чувствую, что, попадая в зависимость от одноразово-эфемерных предметов, мы с вами и сами становимся какими-то “одноразовыми”. Мы начинаем скользить по поверхности жизни, как тень или призрак, а её, жизни, трудная для достижения и постижения глубина остаётся нам, “одноразовым”, недоступна.

А вот если я, скажем, достаю из шкатулки катушку ниток, цепляю на нос очки и сажусь ближе к лампе, чтобы заштопать прореху на брюках или пришить пуговицу, я же не просто занимаюсь починкой одежды. Нет, всё гораздо серьёзнее, глубже. Той нитью, которую я сейчас сматываю с катушки и вдеваю в ушко иглы, я укрепляю саму свою жизнь, соединяю свою, так сказать, субъективность с лежащей вовне объективной реальностью мира. В эти минуты ремонта я чувствую, что я по-настоящему жив, что я действую и существую, раз мои пальцы кладут стежок за стежком, и в итоге ко мне возвращается мой старинный, изрядно потрёпанный жизнью, товарищ — вот эти штаны или эта рубашка. И даже боль в пальце от неожиданного укола иглой меня как-то подбадривает и освежает: в такие моменты я ощущаю, что не просто живу, но ещё нахожусь с окружающим миром в живых, обоюдных (и по-настоящему чувственных!) отношениях.

А всего-то, казалось бы — простая катушка ниток... Нет, мне действительно жаль, что её больше нет рядом с нами, что она укатилась от нас во тьму прошлого, в ту глубокую, тёплую и настоящую жизнь, где нас окружали реальные, а не виртуальные вещи, и мы с этим миром вещей находились в живой и волнующей связи.

КИРЗОВЫЕ САПОГИ. Представьте кирзовый сапог — запылённый, морщинистый, серый, чем-то напоминающий лицо измождённого работника. И только подумаешь, что же они, сапоги былых лет, в совокупности выдержали, сколько дорог прошагали, сколько всего перенесли на своих подметках, как хочется ставить кирзовым сапогам памятник. Для великой победы “кирзачи” сделали чуть ли не больше, чем тысячи танков, самолётов и пушек. Они в буквальном смысле на себе вынесли беды, тяготы, вёрсты войны: именно “кирзачи” отступали до Волги и дошагали затем до Берлина.

Но и помимо войны труд кирзовых сапог был громаден. Они грохотали по подмогьям всех — знаменитых и незаметных — строев страны, они исходили все деревенские тропы, поля и просёлки, истоптали все улицы

и тротуары, все заводские цеха и казармы — всё, над чем денно и нощно трудился народ, совершалось вот именно в этой, достойной почёта и памяти обуви. Поэтому воображаемый памятник “кирзачам” был бы одновременно и памятником всем труженикам страны.

Но, как ни грустно, вместе с кирзовыми сапогами, похоже, уходит в прошлое и само понятие “труженик” (столь похожее на монастырское “трудник”), то есть тот, кто работает не ради денег, а в силу естественной склонности и привычки к труду. Уж какие там деньги платили колхозникам? Можно сказать, никакие. А палочки “трудодей” были просто издѣвкой, как и те почётные грамоты, что так охотно давали трактористам, телятницам или дояркам, которые были годны лишь на то, чтоб оклеивать ими стены в избе. Заводские рабочие или строители получали, конечно, побольше; но всё равно, при тогдашней всеобщей скудности жизни, главной наградой за трудовой день, проведѣнный возле станка или на подмостках стройки, были пресловутые “сто пятьдесят с прицепом” — чарка водки с кружкой пива — да с разговором “за жизнь”, под который они выпивались.

Теперь таких тружеников, как раньше, становится всё меньше и меньше. Люди старой закалки, если и живы, давно на покое; а ныне, если кто и проявит редкостное трудолюбие, то его называют не “труженик”, а “трудоголик”, то есть больной человек, которого надо лечить, словно какого-нибудь алкоголика. Да и сам труд из “владыки мира” превратился в товар, который надо продать подороже, постаравшись при этом ещё и надуть покупателя.

Многие ли сейчас будут работать, если им вообще перестанут платить? Вопрос, скорей, риторический; а когда-то таких людей были миллионы и миллионы — из них состояла и ими держалась страна. Но согласитесь, что между стремлением непременно продать, и возможно дороже, свой собственный труд (то есть продать своё время, умение, силы — свою, словом, жизнь) и желанием делать то, что умешь и хочешь, вполне бескорыстно, по зову души — разница примерно такая же, как между продажной или свободной любовью.

Но не вернуться ли нам к кирзачам? Недавно мне повезло: мой хороший знакомый подарил мне свои сапоги, с которыми он вернулся из армии лет сорок назад и которые сохранились целѣхоньки. Я был страшно рад! Мне захотелось прижать их к сердцу, словно старинного друга. Встреча с этими “кирзачами” была словно и встречей с молодостью (работая в студенческих стройотрядах, я только в “кирзе” и ходил), и встречей с собою самим. Надевая подарок, подтянув голенища и шеголевато пристукивая то носком, то каблуком, я не просто почувствовал себя и бодрей, и моложе, но мне показалось, что я в “кирзачах” становлюсь хоть немного, да лучше, чем в каких-нибудь модных ботинках. Я в них делаюсь сразу естественней, проще, доверчивей и веселее. И мне — ну, не странно ли? — тут же хочется сделать какое-то доброе дело. Ну, скажем, перевести через дорогу старушку и заодно поднести ей тяжѣлую сумку, помочь соседу подправить забор, сколотить песочницу для детей или хотя бы накормить вон ту бездомную собачку, что смотрит слезящимися и укоряющими глазами. Жаль, что я надеваю любимую обувь так редко — как-то всё недосуг или лень — и так много хорошего, что я мог бы в ней сделать, остаётся, увы, лишь мечтой...

КОРОБОК СПИЧЕК. Скоро не то, что спичечные коробки, но и сами спички выйдут из обихода: теперь на просьбу “дать огоньку” обычно достают из кармана одноразовую газовую зажигалку. А уж те деревянные спичечные коробки, о которых я хочу вспомнить, — они исчезли с лица земли, как мамонты или динозавры.

Удивительно, до чего коробок был мал, да удал, как много функций умел совмещать и какой неотъемлемой частью жизни являлся! Без него — никуда; даже в кармане у некурящего человека нередко можно было найти эту сухо гремящую и такую приятную на глаз и на ощупь коробочку. Да что там! Ведь спичечный коробок, если помните, порою играл роль денег, то есть всеобщего товарного эквивалента: он стоил копейку и, когда у продавщицы недоставало мелочи, она давала сдачу именно спичечными коробками.

А измеренные длины, когда под рукой не оказывалось линейки? Коробок-то, как собственная ладонь, был всегда рядом, и его длинная грань, длиной ровно в пять сантиметров, отлично справлялась с поставленной измерительной задачей. Выходит, что спичечный коробок некогда был своего рода мерой вещей или, можно сказать, он был кирпичиком — лёгким, хрупким, изящным — в том мироздании, частью которого некогда были и мы.

Впрочем, нынешняя молодёжь и в глаза не видела деревянного спичечного коробка, и потому надо ей объяснить, как он был устроен. Хоть он и стоил со всем своим содержимым — полусотней спичек — всего лишь копейку, но он был не так прост. Он состоял из двух, склеенных из тончайшей фанеры коробочек, из которых одна с нежным шелестом входила в другую, а при нажатии пальцем с торца — наоборот, выходила, открывая глазам россыпь спичек с коричневыми головками.

Фанера спичечного коробка была оклеена синей бумагой; по длинным граням наружной коробочки были приклеены “тёрки”, при трении о которые и воспламенялась спичечная головка. Как, каким образом зажечь спичку — движеньем “к себе” или “от себя”, зажав спичку двумя пальцами или щепотью, шаркая спичкой о коробок или, напротив, коробком о недвижную спичку — способов было немало, и каждый из них отражал и характер, и род занятий, и даже социальное положение человека. Шофёр-дальнобойщик, деревенская бабка у печки, литературная дама в московском кафе, рабочий у фрезерного станка, интеллигент в очках, отмотавший срок зек, пацаны в подворотне, солдат в увольнении — все они зажигали спички по-своему, и то, как они добывали огонь, очень много и точно о них говорило.

Но продолжим рассматривать сам коробок. Государство, выпускающая спички и спичечные коробки, не забывало использовать даже их — в назидательных целях. Что мы видели на бумажной цветной этикетке, наклеенной на верхнюю грань коробка? То корабль или самолёт, то вдохновляющий индустриальный пейзаж, то трудовой поучительный лозунг, то напоминание о безопасности (“Не играй с огнём!” или “Не выходи на пути перед поездом!”). Поэтому каждый коробок со спичками, помимо своего прямого назначения — быть источником огня — являлся ещё и объектом соц-арта.

Чем ещё был хорош коробок? Опустев, он служил замечательной тарой для разных сыпучих и мелких предметов. Отправляясь в дорогу — в поход, на рыбалку или по грибы, — куда насыпали мы соль? Конечно, в пустой коробок из-под спичек. А в чём рыболов хранил мотыля — такого рубиновокрасного и аппетитного, что хотелось самому его съесть? Опять-таки, в спичечном коробке. Радиолобитель — была и такая порода людей — хранил в коробках из-под спичек свою радиомелочь, всякие там диоды-транзисторы. А для школьников любимейшим развлечением в конце учебного года было принести в класс спичечные коробочки, в которых шуршали-царапались пойманые накануне майские жуки. Чуть приоткроешь такой коробок — жук тут же лезет в узкую щель всеми своими усам и лапками, всем жёстким, упорным хитиновым тельцем, — и вот он уж взмыл-загудел над головами весело загомонившего класса...

А походы, особенно в сырость и дождь, когда именно от спичечного коробка зависело, будет ли нынче костёр, чай и ужин и удастся ли нам обсушиться и обогреться? А разные игры, в которых тоже участвовал коробок? Одна из простейших: по очереди подбрасывать коробок щелчком пальца на подоконнике или столе, и смотреть, на какую грань он упал. Лучше всего, если он устоял на торце, — игрок тогда побеждал. И вообще, чем игра была примитивней, тем она была увлекательней: тогда уже не меньше играть, а сама судьба решала, кто победит.

Да, не забыть: именно спичечный коробок порой оказывался единственным предметом, на котором ты мог записать телефон приглянувшейся девушки. Где-нибудь на автобусной остановке, в библиотеке или в фойе кинотеатра ты лихорадочно охлопывал себя по карманам, пока девушка чуть насмешливо и выжидающе улыбалась, и, наконец, доставал коробок. Карандаш у тебя, к счастью, был, и ты, спеша, нацарапывал на его грани заветные цифры. Коробок дрожал в твоих пальцах, спички в нём сухо гремели,

и ты вдрут вспомнил о майском жуке, который вот так же когда-то шуршал в коробке, и почему-то его, жука, судорожные попытки вырваться на свободу напоминали твои теперешние усилия преодолеть ту преграду смущения, что сейчас отделяла тебя вот от этой красавицы...

КУЛЁК. Вот пришли времена: уже надо объяснять молодёжи, что такое кулёк! А полвека назад редко какой покупатель выходил из продуктового магазина без кулька в руке либо в сетке-авоське.

Кулёк — то есть конус из серой, шершавой, приятной на ощупь бумаги, — был тогда универсальной упаковкой. В кульках несли всё: сахар и яйца, конфеты и пряники, муку и крупу, макароны и семечки. Даже селёдку бросали в кулёк, и сквозь бумагу тогда проступало солёное пятно. Или, скажем, подсолнечная халва — она тоже пропитывала бумагу, и кулёк становился пахучим и сладким.

Всегда нравилось наблюдать, как продавщица сворачивает кулёк. Она берёт лист бумаги из стопки, встряхивает его с лёгким хлопком, затем стремительно оборачивает вокруг собственной полной руки, ловко заламывает вершинку — и вот перед ней ровный конус, в который скоро с шуршанием начнут сыпаться сахар или крупа.

Удивительно, до чего проста была тогда жизнь, особенно сельская; и эта жизнь — во что сейчас даже трудно поверить — была практически безотходной. Ни мусора, ни, тем более, мусорных свалок в деревне тогда просто-напросто не существовало. Все съестные остатки доставались курам или поросёнкам; всё, что могло гореть, оказывалось в печи; верёвочкам, крышечкам или коробочкам обязательно находилось место в хозяйстве. Это я всё к тому, что нынешние времена по сравнению с аркадской идиллией моего детства буквально выбросили нас на свалку: упаковочного мусора вокруг столько, что мы рискуем быть заживо похоронены в его горах. Наша цивилизация превратилась в прямом смысле в цивилизацию упаковок. Полубуйтесь какой-нибудь компанией горожан, выехавших на пикник. Да, посидят они у костерка или мангала, подурчатся, выпьют-закусят, пожарят свои шашлыки, но упаковок, бутылок, пакетов оставят после себя целую гору! И ведь это всё вечный мусор: пластик, которым отдыхающие осквернили природу, переживёт их самих, их детей, внуков и правнуков.

А кроме того, цивилизация упаковок — это мир видимостей и обманов. Никакая вещь, спрятанная в ярко-призывную оболочку, не может быть так хороша, так вкусна и полезна, как об этом кричат картинки и надписи на упаковке. Скорее, наоборот: чем ярче форма, тем скуднее (порой и опаснее) содержимое.

Поневоле со вздохом и нежностью вспомнишь о старом добром кульке из обёрточной серой бумаги. Он был скромненький, да честненький: лишнего не сулил, а уж если что нёс в себе, так добротное и настоящее. И финал кулька всегда был достойным. Какое-то время он хранил те продукты, что были завернуты в нём; потом бумага кулька могла стать обёрткой, к примеру, куриных яиц, уложенных в старую плетёную корзину. Но, в конце концов, любой из бумажных кульков становился печною растопкой. Бумага комкалась; этот комок подсовывался под щепки, лежащие в топке печи, и скоро бумага смуглела от зыбкого пламени спички. Кулёк служил людям последнюю службу: он становился огнём, а потом улетал в виде сажки и жара в печную трубу.

ЛАЗАНЬЕ ПО ЧЕРДАКАМ И ПОДВАЛАМ. Иногда возникая как продолжение игры в прятки, наше детское лазанье по чердакам и подвалам само по себе превращалось в игру. Теперь-то ни на какой чердак или в подвал не залезешь: всюду всё в замках. А в наше время всегда можно было найти лазейку в подвал — или из подъезда, или снаружи дома, через техническое окно, иногда для виду прикрытое ржавой, легко сдвигающейся решёткой. Уже одно то, что в подвалах царил полумрак, а то и крошечная тьма, и поэтому там было не обойтись без фонариков либо свечей, делало мир подполья таким притягательным, что мало кто из подростков мог устоять перед зовом подвального лаза.

И память, когда я прошу её снова спуститься со мною в подвал, ведёт меня по холодным глинистым кучам, усыпанным ключьями стекловаты, вдоль сочащихся влагою труб. Эти трубы как будто мохнаты — опять-таки, от стекловаты, примотанной к ним витками сталистой пружинистой проволоки, усы которой так часто ловили нас, проползающих, за воротник. В пятне фонарного света, рыскающего по отвалам глины, оказывался то ржавый вентиль трубы, то старый кирзовый сапог или драная телогрейка, то вдруг жутковато-зелено вспыхивала пара кошачьих глаз. Если же мы выключали фонарик или гасили свечу, то подвальная тьма расширялась до пугающей бесконечности. В ней что-то всё время капало и шуршало, не одни только кошки, но и крысы разглядывали нас из темноты, и долго выносить тьму подвала никому не удавалось. Мы поскорей вновь включали фонарик или зажигали свечу и с облегчением, как старых знакомых, снова видели ржавые вентили и мокрые трубы в клоках стекловаты.

Для чего вообще мы спускались в подвалы? Что искали в их тесной, сырой темноте? Что за тайна влекла нас во тьму подземелий — тайна, которую можно было почувствовать, только проникнув туда, где шуршат крысы, сочится вода и где даже робкий свечной огонёк не разгоняет, а множит тени и страхи? Или мы залезали в подвалы ради той радости и облегчения, с какими потом возвращались обратно, в привычный и солнечный мир? И впрямь, погруженье во тьму всегда обостряло в нас чувство радости жизни — и двор был милей, и трава на нём зеленей, и небесная синь была ярче после того, как мы ненадолго со всем этим расстались.

Чердаки я любил больше подвалов и забирался на них куда чаще. Вот туда меня словно что-то тянуло: то ли стремление подняться повыше и посмотреть на привычный мир сверху, то ли чувство особенного, гулко-ветреного пространства, какое всегда возникало меж косых стропил чердака. Да, здесь было не то, что в подвале, — здесь было сухо, просторно, свежо. Под ногами шуршал керамзит, от слуховых окон тянул непрерывный сквозняк, и сизые голуби суматошно вспархивали от твоих шагов, взметая чердачную пыль и свой собственный, долго реющий в воздухе пух.

Мне чердак представлялся всегда кораблём, особенно в ветреную погоду. Весь его деревянный каркас — стропила и поперечины-ригели, брусья подпорок и тёс обрешётки — тогда стонал, напрягался, скрипел под ударами ветра, а серые волны шифера, лежавшие над головой, вызывали в воображении настоящие волны, бегущие вдаль. К тому же, чердак соседнего дома, куда мы лазили чаще всего, жильцы использовали для сушки белья, и переплетенья верёвок с белевшими полотнищами простыней, так похожими на корабельные снасти и паруса, делали сходство чердака с парусником столь очевидным, что, пробираясь между стропил и верёвок, всегда хотелось выкрикивать бравые морские команды, вроде: “Полундра! Свистать всех наверх!” — или: “Ставь бом-брамсели, сто чертей в глотку!”

А сизые голуби нам вполне заменяли крикливых, назойливых морских чаек. Их воркованье почти непрерывно доносилось из дальних углов; когда же целая стая, кормившаяся где-то на ближних полях или мусорных свалках, влетала в слуховое окно, на чердаке мгновенно смеркалось, и весь пыльный сумрак вибрировал от десятков поспешно хлопавших крыльев.

Но годы шли, мы росли, жизнь менялась; и на переломе эпох уже вовсе не дети искали на чердаках и в подвалах приюта. Те несчастные люди, кому судьба не оставила даже крыши над головой, снова, как они делали это в детстве, искали лазейки в подвалы или карабкались на чердаки. И, по горькой иронии жизни, этот подвально-чердачный мир был бомжам хорошо знаком, только кто из них думал, ребёнком играя в прятки в подвалах или на чердаках, что им снова придётся вернуться сюда? И вернуться уже не в шутливой игре, а в самой что ни на есть беспощадной борьбе за выживание? И что те же голуби, те же кошки и крысы, точнее, прямые потомки тех самых крыс, кошек и голубей встретят их здесь?

Правда, не очень-то долго продлилось чердачно-подвальное существование бомжей. Жильцам досаждали незваные гости, — а то ведь и хладные трупы

приходилось вытаскивать через подвальные лазы, — поэтому и чердаки, и подвалы вскоре повсюду позакрывали. Но хочется думать, что бродягам, чья жизнь завершилась в подвалах или на чердаках, судьба подарила хотя бы последнюю милость. Кончаясь среди влажных пластов стекловаты или зарывшись в холодный сухой керамзит, кто-то, может быть, и представлял, что он снова ребёнок и снова играет в пиратов или разбойников. И совсем уже скоро — вот только чуть-чуть потерпеть! — он выберется из этой холодной сырой темноты на свет Божий, снова увидит зелёную траву двора и небесную синь наверху, а когда он вернётся домой, то мать попеняет ему, но голосом вовсе не строгим, а ласковым: “Что, опять лазил в подвал? Вон как изгваздался — смотри, все штаны в глине...”

МЕЛОЧЬ. Я имею в виду монеты — те, что побрякивали в кармане почти у каждого. Само ощущение позвякивающих в ладони или в глубине кармана монет было очень приятным. И вовсе не потому, что оно означало какую-то там состоятельность — мелочь, она и есть мелочь! — а потому, что монеты ласкали и руку, и глаз. Мне особенно нравились крупные медяки — монеты достоинством в три и пять копеек. И они, если помните, были настолько привычны и вездесущи, что служили мерилом для разного рода сравнений. Скажешь, бывало, описывая человека: “У него на щеке родинка размером с пятак”, — и каждому ясно, о чём идёт речь. А если стукнешься лбом о какой-нибудь угол — тут же лезешь в карман за пятаком и прикладываешь к ушибу его охлаждающий кружок.

То есть монеты — особенно медные (уж не знаю, сколько в них было меди, но так их все называли) — были нужны нам не только как товарные эквиваленты, но и как предметы сами по себе, повседневные и необходимые. Конечно, и о покупательной способности мелочи мы не забывали. На эту тему, пожалуй, я напишу отдельную статью и назову её, скажем: “Цены советской эпохи”. Пока же давайте рассмотрим сами монеты: их аверс и реверс, те цифры, что были на них отчеканены, и государственный герб, что имелся на каждой. Не удивительно ли, что тогда, когда мы эти монеты ежедневно использовали, мы как-то не снисходили до того, чтоб их рассмотреть повнимательней — подумаешь, мелочь! — и вот только теперь мы относимся к ним, как какие-нибудь археологи, воскрешающие былое по немногим его уцелевшим остаткам...

Археологам будущего достанется, кстати, неплохой урожай уцелевших советских монет. Уж если мы, пацаны, находили немало обронённых пятаков да гривенников буквально у себя под ногами, так, наверное, специалистов, оснащённых какими-нибудь металлоискателями, ждёт улов куда больший. К тому же, тогда бытовал обычай бросать монеты в тех местах, что пришлось тебе по душе и куда ты хотел бы вернуться. Вот и летели монеты, сверкая, в пену прибоя где-нибудь в Коктебеле или Юрмале, в струи фонтанов Львова или Ташкента, в реки с мостов или просто куда-нибудь, лишь бы подальше — в белый, что называется, свет. Жаль, что я тогда, когда мог это сделать, не разбрасывал мелочь повсюду... Может, это мне помогло бы сейчас возвратиться в былое?

Ведь те археологи будущего, которых мы только что вообразили, разве смогут они, найдя даже целую грудку монет, так представить прошедшее, как это сделаем мы, его живые свидетели? Скажем, пятак для них всего лишь монета, со своими размерами, весом, символикой — что там ещё имеет значение для археолога и нумизмата? А для нас-то пятак — это целая жизнь. Это и надувной воздушный шарик — помните, сколько их, разноцветных, реяло над головами в дни праздничных демонстраций? — и упоительно пахнущий бублик, посыпанный маком, и стакан чая с лимоном, и поджаристый пирожок с повидлом, который весёлая толстая продавщица в замасленных нарукавниках подавала, прихватив его через обрывок серой кассовой ленты. А автобусный билет, и та животворящая давка в час пик, в которую ты — всего за пятак! — мог быть погружён? А помните, как среди автобусных билетов попадались “счастливые” — те, в которых сумма первых цифр

равнилась сумме последних? И как их непременно полагалось съесть? Язык до сих пор помнит вкус разжёванного автобусного билета — этот обманчивый, пресный вкус счастья...

Так что мелочь — вовсе не мелочь, если дело касается воспоминаний. Впрочем, оставлю читателям место для их собственных игр с Мнемозиной. Сам же продолжу писать свой “Словарь”, уповая на то, что из описи тех случайных предметов или явлений, на которые время от времени набредает моя ненадёжная память, получится нечто похожее на портрет миновавшей эпохи.

НОЖ “БЕЛКА”. Был такой популярный среди подростков складной нож “Белка” — и белка действительно была отштампована на его пластмассовой рукояти. Не иметь своей “Белки” в кармане считалось вроде бы и неприличным. И как мы, тогдашние пацаны, представляли собою переходную ступень между детским и взрослым возрастом, так и наши любимые “Белки” были ножами-подростками, чем-то средним между игрушкой и настоящим оружием. И в тех играх, которым мы предавались с таким увлечением — разнообразных металлических упражнений с ножами — был уже привкус чего-то серьёзного, взрослого, порой даже опасного; недаром матери то и дело с тревогоу предупреждали нас: “Нож — не игрушка!”

Но играть с ножами мы, разумеется, не прекращали. Вариантов тех игр было три: “земля”, “ножички” и метанье ножей в деревянный забор. Для “земли” нужно было найти ровную вытопанную площадку и начертить на ней круг, а затем поделить его посередине. Каждый из играющих становился на свою половину, и тот, кому выпало метать нож первым, начинал завоёвывать землю противника. Нож брался за лезвие, с силой швырялся и, если вонзался удачно, то по направлению лезвия проводилась новая граница, прибавлявшая территории “завоевателю”. Самое интересное начиналось тогда, когда своей земли у жертвы “агрессора” оставалось так мало, что “завоеватель” промахивался — и наступал черёд отвоёвывать то, что было захвачено. Главное — лишь бы встать на клочок-клинышек своей территории, хоть пяточкой, хоть носком, хоть как угодно! — и, пусть в падении, но успеть вонзить нож в землю противника. Если это удавалось, то маятник “геополитики” начинал мах в другую сторону. Теперь уже ты, торопясь-задыхаясь от радости и от азарта, начинал контра наступление. Помните влажный, земляной холодок лезвия “Белки”, замах и бросок, и то невыразимо приятное чувство, с каким ты видел и слышал, как кубыркнувшийся ножик вонзается в землю?

Другой игрой были “ножички”. Суть её состояла в бросании ножей самыми разнообразными способами и с опорой на разные части тела — на пальцы, колени и локти, на лоб, подбородок и нос, опять-таки с тем расчётом, чтобы вонзить нож в землю. Каких только вычурных поз ни придумывалось нами и каких только замысловатых бросков ни производилось, лишь бы продемонстрировать свою ловкость и чувство ножа. А уж если в нашей компании оказывались девчонки — чаще в роли зрительниц, чем полноценных участниц игр, — то мы доходили в своей ножевой акробатике чуть ли не до экстаза. Ведь для них, девчонок, это всё, в сущности, и исполнялось — все эти ритуальные игры с ножами, которые должны были продемонстрировать наши способности воинов или охотников.

Следующей игрой — к ней мы пришли, уже чуть повзрослев, — было метанье ножей в заборы или деревья. Это было вполне мужским упражнением и, по сути, военной игрой. Немало “Белок” было погублено в этих забавах — раскалывались их черенки, гнулись лезвия, разбалтывались заклёпки, — но это не останавливало нас, монотонно и иступлённо час за часом швырявших ножи в заборы, деревья или дощатые стены сараев, и всё для того, чтоб услышать короткий, тугой звук втыкания в дерево и увидеть вибрирование рукояти. Представляли ли мы, что вместо досок забора нож вонзается в грудь человека? Кто-то, может быть, и представлял; во всяком случае, разговоры о том, куда именно нужно попасть, и какой длины должно быть лезвие, чтобы сразить наповал, — такие разговоры и споры велись постоянно. Считалось, чтобы достать до сердца, лезвие должно быть не менее четырёх поперечных пальцев в длину. И мы, делая озабоченно-строгие лица,

мерили лезвия наших ножей. Выходило, что “Белка” — зверь настоящий, серьёзный, до сердца достанет.

И вот я сейчас думаю: а не эти ли игры с ножами оказали влияние, пусть и косвенное, на мой позднейший выбор профессии? Ведь, как ни крути, а я стал хирургом — человеком с ножом в руке. И вообще, кто знает, как, каким образом прошлое влияет на настоящее или будущее? И как предметы, уже исчезнувшие из обихода, словно продолжают где-то незримо существовать и незримо влиять на текущую жизнь? Они влияют на настоящее хотя бы уже потому, что, не будь тех исчезнувших в прошлом вещей и явлений, мы сами были бы в чём-то другими, то есть нас, нынешних, вовсе б не существовало.

ОБЩЕПИТ. И что же хорошего было в той придорожной столовой? Там было шумно, накурено, тесно; по стёклам сёк дождь; шоферня материлась, ругая погоду, дорогу, начальство. В ногах чавкала жижа и катались, гремя, пустые бутылки: принесённую водку, таясь от буфетчицы, разливали под столиками, там же и оставляя порожнюю стеклотару. Так уж здесь было принято, такая здесь шла игра под названием “со своими спиртными напитками — запрещено”.

Конечно, мир той “стекляшки” в посёлке Стодолище, где мы пережидали дождь по пути в стройотряд, мог бы кому-то казаться ужасен и груб, неопрятен, почти первобытен. Но мне он казался воистину раем. Я хмелел там не столько от пива, сколько от самой атмосферы густой, герметической жизни, кипевшей вокруг. Я дышал уж не воздухом, а крепчайшим настоем из дыма и пота, из шифёрского мата, перегара, бензина, сапожной кирзы, из звона стаканов и звяканья дожек, из грубого смеха над чьей-нибудь грубою шуткой, из крика-призыва: “Танюша, ещё гуляша!” — да из гула машин, проносившихся по шоссе мимо мутных, забрызганных стёкол дорожной столовки. И я испытывал там глубочайшее чувство покоя. Даже шум ссоры, которая вдруг разгоралась в углу и вполне могла кончиться пьяною дракой, не только не разрушал это чувство покоя, но как бы ещё укреплял ощущение слитности общей жизни, которая окружала тебя, словно дымное, тёплое облако...

И чем более шумным, угарным и грубым был мир придорожной столовой, тем более я ощущал его нежность, его доброту и свою с этим миром сроднённость. Уж меня-то никак не могло обмануть ни хрипенье прокуренных глоток, ни оскалы зубов, меж которых торчал “Беломор” или “Прима”, ни хруст кулаков, на которых синева вздутых вен была смешана с синевой татуировок. Это был мой, родной мир, и я верил, что уж он-то меня не предаст и не выдаст, не выгонит вон, не оставит меня замерзать на ветру одинокой судьбы. Пока я жил там, в недрах общей и слитно клубящейся жизни, я словно был защищён от возможных невзгод и напастей, лишений и бед. Потому что какая беда отыскала б меня в том густом и прокуренном мире, где и сам-то себя я не мог отыскать?

Это был герметический мир — закрытый, словно парник или оранжерея, — и все его обитатели были равны меж собою и жили по правилам, общим для всех. И блюда, которыми нас там кормили, тоже были едины для всей необъятной страны: “Общепит” он и есть “Общепит”. Усреднённым и общим там было всё: от заветренных образцов блюд на витринах, от тарелок с синим овальным клеймом “Общепит” и гранёных стаканов, от солонок с намокшею солью и банок засохшей горчицы до имён подавальщиц или буфетчиц, которые могли быть только Зинками, Клавками или, на крайний случай, Татьянами. В каком городе или посёлке ни зайдёшь вот в такое кафе, всюду встретишь и толстую Клавку-буфетчицу, и фикус в углу (его кадка всегда была полной окурков), и васнецовских “Богатырей” на стене, и всюду почувствуешь: ты здесь свой, ты — на родине.

И ещё, — может, это и было важнее всего, — этот привычный, знакомый до скуки, уныло-родной мир советского “Общепита” казался так же незыблем и вечен, как какие-нибудь Гималаи. На что время могло покушаться в том мире, где нет никаких перемен, где всё так однообразно-едино, где всё словно спит в густом, тёплом сумраке?

До сих пор непонятно, куда же всё это девалось? Где тот гуляш и тот огненный борщ, где Клавка-буфетчица с её необъятною грудью, где фикус в кадке, где варёные яйца с синим клеймом на боку, где водка “Столичная” за пять двадцать пять, где гул разговоров в табачном дыму? Где вся та грубая и нежная мощь общей жизни, что клубилась, дышала, жила меж прокуренных стёкол в те баснословные годы, когда я был так ещё молод, а страна, что меня воспитала-вскормила, уже незаметно, но неудержимо рушилась в пропасть?

ОТКРЫТКИ. Нередко в названиях и именах теряется первоначальный смысл слов. Так, произнося “Пушкин”, мы не думаем об артиллерии; так и с “открыткой”. Часто ли мы вспоминаем, что речь идёт об открытом, доступном любому послании? И в этом смысле открытка советской эпохи была предметом символическим. Считалось, что настоящему советскому человеку скрывать нечего: все его чувства и мысли вполне могли быть доверены цветному листку картона, который мог разглядывать всякий, от почтальона до соседа по общежитию.

Открыток, кто помнит, было два основных типа: поздравительные и открытки с мест отдыха. Тем людям, с которыми вы были в разлуке, но хотели поддерживать связь, — родителям, детям, друзьям — уж, по крайней-то мере, два раза в год полагалось посылать поздравительные открытки: в их день рождения и в новогодние праздники. Открытки на день рождения всегда были с цветами, и надписи на них особым разнообразием не отличались. Что ещё можно было желать, кроме “здоровья и долгих лет жизни”, когда обо всём остальном заботилось государство?

Вот новогодние — те были разнообразнее и поживее. Тут тебе и какой-нибудь милый зайчик или медвежонок, и Дед Мороз со Снегурочкой, и ёлка в пушистых снегах, и детвора, катающаяся с горки на санках, и сияющий блёстками ёлочный шар, и кремлёвская Спасская башня с курантами — весь набор праздничных образов был представлен на новогодних открытках. И по этим открыткам, — если, конечно, они у кого-то ещё сохранились, — память легко воскрешает один из чудеснейших праздников детства. С его ожиданием и с приготовлениями к нему — чего стоит одно наряжание ёлки! — с добыванием и сооружением блюд к новому праздничному столу — о, мандарины и шпроты! о, салат “оливье”! о, селедка под шубой! — со всем, словом, тем, что нас согревает каким-то блаженным томленьем по будущей, непременно счастливой и радостной жизни.

А открытки с мест отдыха — это были короткие репортажи из рая. Уезжал ли муж-пролетарий в какой-нибудь санаторий по профсоюзной путёвке, везла ли заботливая мамаша своих деток в Москву, чтобы показать им Кремль и Красную площадь, отправлялся ли отрок-отличник в пионерский “Артек” — отовсюду к родне, остающейся дома, приходили открытки с изображением разнообразных красот и чудес. И пусть в реальности всё было не совсем так, как на этих открытках и бодрых подписях к ним, — то есть муж в санатории больше пил, чем лечился, Москва провинциальную бабу измучивала до одури, а отрок в “Артеке” скучал и мечтал о своём деревенском пруде с карасями, — но всё равно образ рая вставал перед теми, кто получал эти открытки, с умилением любовался и видами, и словами, выведенными родною рукой, а потом заботливо складывал в стопку, перетянутую резинкой, и клал в буфет или за настенное зеркало, чтобы после, в минуту печали, опять прикоснуться к той радости, что содержали в себе эти цветные картонные прямоугольники.

Да и авторы этих посланий, когда возвращались домой и зимними вечерами, перебирая открытки, вспоминали свой летний отдых, представляли не столько реальность, сколько сказочный и приукрашенный образ её, тот образ, что так убедительно рисовали ими же самими написанные и посланные открытки.

А помните, как популярны были сувенирные наборы открыток, которые прямо-таки полагалось покупать каждому путешественнику? И, если б собрать все открытки с видами тогдашней страны — видами, запечатлевшими

её города и веси, моря и горы, мосты и реки, вокзалы и памятники, — то получила бы своего рода имперская энциклопедия. Но собрать её вряд ли возможно, как вряд ли возможно и воплотить ту мечту о безоблачной жизни в счастливой стране, про которую так настойчиво и убедительно продолжают твердить нам наборы старинных, уже пожелтевших открыток.

“ОХОТНИК” НА ТЕАТРАЛЬНОЙ. Почему-то особенно жаль вот именно этого исчезнувшего магазина и всего, что с ним связано. Располагался он на улице Театральной, в низком одноэтажном домишке, имевшем три небольшие окна по-старинному, в облупившейся штукатурке фасаду; шагнув за порог, ты оказывался в особенном мире рыболовно-охотничьего магазина.

Начиная лет с десяти тебя неудержимо тянуло в тот мир. Сейчас даже трудно понять, что же именно так привлекало тебя в том уютном и тесном от посетителей магазине? Сам его сумрачный воздух, сами крепкие запахи табака, кожи, дерева и кисловатый запах зернистого пороха, который тут насыпали совочком в кульки из бумаги, словно крупу или сахар? Или икряной, мелкий блеск разнокалиберной дробы, лежавшей по ящикам? Или тебя привлекали витрины, под залапанным и тускловатым стеклом которых были разложены рыболовецкие принадлежности?

Ты разглядывал эти витрины, как зачарованный, хотя давным-давно наизусть знал весь их нехитрый ассортимент. Но странное, восхищённое оцепенение охватывало тебя, когда ты перебирал глазами поплавки, мотки лесок, крючки и грузила, рядами лежавшие под витринным стеклом, обрамлённым коричневой деревянной рамкой. Тебя могли толкать, даже грубо отодвигать покупатели — “Эй, малец, подвинься — мешаешь!” — но ты упорно, из-за чьего-то плеча или из-под локтя продолжал ловить взглядом витрину, словно даже короткая с нею разлука была для тебя мучительна. Ты разглядывал и поплавки из гусиных перьев — верх был красный, низ белый, а стоил каждый по пять копеек, — рассматривал и катушки, и просто бухты капроновой лески из города Клин, и крючки номерами от двух с половиной до десяти или даже двенадцати*. Первые, самые мелкие, назывались “заглотыши” и очень ценились; размер же той рыбы, которую нужно было ловить на двенадцатый номер крючка, даже не умещался в нашем детском воображении. А вот грузила: наполовину разрезанные свинцовые дробины, которые надо было обжимать зубами на леске. А вот набор “Юный рыболов”, пользовались которым только совсем уж зелёные новички. Он представлял собой мотовило — иногда в виде рыбки — с тремя метрами лески, крючком номер пять, грузилом и пузатым пластмассовым поплавком. Дело даже не в том, что эта снасть была очень груба, и разве какой-нибудь глупый, непуганый, жадный карась мог быть ею пойман; дело в том, что едва ли не половину рыбацкого наслаждения составляет подгонка, наладка, а то и собственноручное изготовление снастей, а готовый набор эту радость у нас отнимал.

Но чуть ли не большею радостью, чем самому изготавливать снасть, а потом ловить на неё рыбу, было именно созерцание витрины в том магазине “Охотник”, где я провёл столько блаженных часов. У Пруста есть знаменитое место о вкусе пирожных “Мадлен” — вкусе, оживляющем память; так вот моими “пирожными” были предметы с витрины магазина “Охотник”. Причём то, что они оживляли, было и памятью, и воображением вместе: медитируя над поплавками и лесками, ты как бы и смотрел в своё прошлое и в будущее одновременно.

Покупал я что-либо редко — да почти нечего было там и покупать, — но я погружался в то состояние между явью и грёзой, когда те предметы, что ты видел под витринным стеклом — все эти поплавки, лески, грузила — были именно “кнопками”, включающими воображение. Смотришь на перьевой поплавок и представляешь его же, но уже не на витрине, а на воде прудового затона, подёрнутой гусиным пухом, — воде, по которой вдруг пробежала цепочка змеящихся пузырей от кормящейся где-то там, в глубине, донной рыбы. Вот поплавок чуть привстал, потом медленно завалился

* Ныне в ходу иная — обратная — нумерация рыболовных крючков.

на воду — и твоя рука так непроизвольно дёрнулась, изобразившая воображаемую подсечку, что небритый мужик в телогрейке, которого ты случайно толкнул, с изумленьем посмотрел на тебя. И так было почти с каждым предметом, на котором ты останавливал взгляд. Видел леску в мотке — и уже представлял, как она, натянувшись, полукружками режет тёмную воду; смотрел на крючок номер четыре — он был самый у нас “ходовой”, — и твои пальцы уже как бы чувствовали тот хруст, с каким ты выдираешь крючок из хрящеватого, склизкого рта только что пойманной рыбы...

ОЧЕРЕДЬ. Теперешние очереди, если кое-где и возникают, не идут ни в какое сравнение с теми, давнишними, в которых мы не просто долго и терпеливо стояли, а именно жили. Вот попробуйте-ка отстоять, приближаясь со скоростью часовой стрелки на циферблате, к кассе или прилавку, хотя бы один только час. А тогда очередь длиной в час была совершенно обыденным делом.

В них был особый уют и покой. Стоило преодолеть первоначальное нетерпение и смириться с неспешным, почти незаметным движением очереди, как ты чуть ли не засыпал, убаюканный мерным качанием спин и затылков, сдержанным говором сзади и спереди, шарканьем ног и шуршаньем одежды. Глубокий покой медленно подвигавшейся очереди нарушался разве что звяканьем чашек весов — там, далеко впереди, у прилавка, — да короткими перебранками, возникавшими меж продавщицей и бестолково-растерянными покупателями. А как тут не стать бестолковым, отстояв битый час и запомнив до мелких деталей аж десять затылков перед собой, но при этом забыв (а такое случалось), что же именно нужно тебе попросить у продавщицы и зачем вообще ты стоишь в очереди монотонно и медленно подвигающихся людей? Иногда начинало казаться, что тебе ничего из вещей или продуктов не нужно, что очередь — цель сама по себе и что ты, отстояв в ней час-полтора, выйдешь снова на улицу вовсе не тем человеком, что некогда спрашивал: “Кто здесь последний? Я буду за вами...”

Очереди учили нас не только терпению, но и справедливости. Ведь для каждого возникал соблазн: не попробовать ли как-нибудь протолкаться к прилавку, опередив остальных? Это называлось “пролезть без очереди”; и находились такие, кто готов был разбиться в лепёшку, но хоть одного человека, да обойти. Видно, много способа самоутвердиться для них не было, и они были готовы на крики, на ругань и чуть не на драку, лишь бы протолкаться вперёд прочих и затем отойти от прилавка с выражением оскорблённой невинности (хотя на самом-то деле это они оскорбили других), прижимая к груди, как награду, какой-нибудь жалкий кулёк.

И нравственный выбор предлагался каждому, кто видел перед собой длинную, загибавшуюся до дверей магазина очередь из терпеливо стоявших людей и решал: потерять ли час-полтора времени, но сохранить совесть чистой или, махнув на неё рукой, пробиваться к прилавку?

Но ведь и для тех, кто стоял позади лезущего без очереди нахала, тоже был выбор: бороться ли за справедливость? Стерпеть ли и пропустить нахрапом лезущего наглеца или схватить его за руку? И ладно ещё, если без очереди лезла какая-нибудь старушонка — её бы и так пропустили, — а если расталкивал всех здоровенный бугай? Тогда для того, кто решился его останавливать, дело легко могло кончиться дракой. Так что очередь была местом вовсе не сонного полусуществования, а своего рода полигоном, где каждый из нас проходил ежедневное и непростое нравственное испытание.

Но очередь могла быть и милосердной. Вот, скажем, где-нибудь у прилавка винного магазина к одиннадцати часам (время, с которого по всей стране начинали торговлю спиртным) выстраивалась нетерпеливая очередь из суровых, мягко говоря, мужиков — и думать о том, чтобы нахрапом пролезть вперёд всех к прилавку, мог разве что самоубийца. Но вдруг в дверях магазина появлялся кто-либо с выраженьем страдания на небритом, опухшем лице и, обращаясь ко всей очереди сразу, сильным голосом говорил:

— Мужики, разрешите... Ждать не могу: котлы горят...

И все расстучались, пропуская беднягу вперед. Вспомнил ли каждый о том, как он и сам бывал вот в таком же мучительном состоянии, или слова “котлы горят” вызывали у всех представление об извечно грозящих всем нам котлах преисподней? Но, как бы то ни было, таких бедолаг почти всегда пропускали, порою сочувственно прибоормывая при этом: “Что же мы, звери какие?..”

ПИСЧЕЕ ПЕРО. Правда, классические для русской литературы гусиные перья мы застали лишь в качестве поплавок: прекрасных, надо сказать, поплавок, без которых ужение, например, карася теряет едва ли не половину прелести. Но если я сейчас начну вспоминать о рыбалках детства, память меня заведёт далеко, и я уже не вернусь к писчим перьям. А ведь перья в течение многих веков служили одной из опор человеческой жизни — своего рода осью, на которой вращалась цивилизация.

Пусть перьев гусиных моё поколение уже не застало, но вот перья стальные держать в руках приходилось. Дольше всего они сохранились на почтах, где на столах рядом с бланками для посылок и телеграмм непременно стояла чернильница, из двух глазков-углублений которой обычно один был пустым, и высохшие чернила на его донце отливали зеленовато-металлическим блеском, а в желобке лежала перьевая ручка старого образца. Она не писала сама по себе, а её нужно было часто макать в чернила — ведь того, что перо “зачерпнуло” из чашки чернильницы, хватало лишь на три-четыре влажные синие буквы. Но зато этот ритм — обмакнул, написал, снова быстро макнул и опять заскрипел по бумаге — совпадал с чем-то важным: то ли с ритмом дыхания, то ли с движением мыслей? Во всяком случае, то, что перо тормозилось, ныряя в чернила, позволяло твоей мысли не отставать от руки, и то, что из-под неё выходило, несло след хоть какого-то, но размышления.

Но с другой стороны, писать такими перьями было всё же неудобно — чего стоили одни кляксы! — и появление ручек, хранивших запас чернил в своём корпусе, стало настоящим прорывом в писарском деле. Кто учился в те годы, тот помнит, как различались механизмы накачки чернил. То это был резиновый колпачок — как у медицинской пипетки, — то поршень, надавливая и отпуская который, ты накачивал чернила в резервуар, то, наконец, винтовой насос, при вращении которого твоя авторучка наполнялась чернилами.

Писать такой ручкой было, конечно, гораздо удобнее; но вот перепачканность наших рук, парт, тетрадок, одежды чернилами доходила, особенно в младших классах, до комической степени. То протекала сама авторучка, то опрокидывалась чернильница, из которой ты её заправлял, то, случайно нажав колпачок или винт, ты изливал целую лужу чернил на тетрадь или парту — и трагикомедия под названием “школьник в чернилах” ставилась ежедневно и многократно в каждом классе страны.

Оттого-то таким нужным предметом была “промокашка” — лист мягкой, пористой розовой или голубоватой бумаги, который вкладывался в каждую тетрадь и служил как раз для борьбы с последствиями чернильных аварий. Впрочем, “промокашки” могли служить и для другого. И для того, чтоб нарисовать на ней карикатуру на соседа по парте — в самой-то тетради особо не порисуешь, — и для того, чтоб написать на “промокашке” подсказку какой-нибудь глупенькой, но хорошенькой девочке, что так умоляюще смотрит во время контрольной, и, наконец, для того, чтобы из пережёванной “промокашки” сделать мокрую “пулю” для сражения на перемене. Прижмёшь, бывало, её к упругой линейке, прицелишься, выстрелишь — и удачно залепишь в чей-либо лоб сочной розовой кляксой!

Ещё промокашками чистили перья, хоть были для этого и специальные “перочистки”: тряпично-кожаные диски, о которые мы вытирали перья своих авторучек. А если перо долго не вытирать, то на него обязательно налипали какие-то волоконца, производившие забавный эффект на бумаге: за каждой написанной буквой тянулась размытая тень.

Казалось бы, при таких неудобствах, связанных с перьевыми чернильными ручками, отчего бы не радоваться, когда появились ручки шариковые,

куда более удобные в употреблении? И пишут они много легче и чище — о кляксах вообще можно забыть! — и запаса пасты-чернил в них хватает надолго. Но вот поди ж ты: прежние учителя очень долго противились введению шариковых авторучек, а в младших классах вообще их запрещали. Считалось, что шариковая ручка портит почерк ребёнка, а значит, “разбалтывает” и его характер. И теперь, спустя жизнь, я вижу, до чего же наши учителя были правы. Человек, пишущий ручкой классической, перьевой, и думает, и живёт как бы в тоне и ритме, задаваемом основательной, неторопливой чернильной прописью; он сознаёт и себя самого, и весь окружающий мир как нечто весомое, ценное и достойное существования. Тот же, кто легковесно скользит по бумаге нетвёрдой побужкой шарикового пера, и сам делается не уверен в себе, как плохой танцор на скользком паркете. А зыбкий почерк и зыбкие мысли — они и весь мир вокруг делают как-то и легковесней, и призрачней. В самом деле, ведь мир, отражённый неуверенным и неосновательным шариковым пером, будет неизбежно отличаться от мира, скажем, классической русской литературы, описанного обстоятельными гусиными перьями золотых времён письменной цивилизации.

Вы, может быть, спросите: а каким же пером я пишу эти строки? Увы — развожу я руками, — конечно же, шариковым. Несколько раз я пытался вернуться к классическим перьевым ручкам, но, видно, уже оказался испорчен настолько, что не способен жить в ритме неторопливо поскрипывающего писчего пера. Я сам сделался слишком зыбок, нетвёрд, тороплив, и поэтому уж не могу писать так, как, бывало, писали: “Сударыня!” или “Милостивый государь!” — а потом завершить эпистолу щеголеватым (но при этом полным достоинством) росчерком подписи. А жаль, жаль, ибо насколько весомей и глубже получились бы строки о писчих перьях, будь эти строки написаны именно писчими перьями.

ПИСЬМА. Трудно даже представить, как много мы потеряли, расставшись с эпистолярной культурой. Человек, регулярно пишущий письма, и тот, кто живёт в мире SMS-сообщений, — это люди не просто разных поколений, но разного как бы состава души, разных групп крови, всё меньше, увы, совместимых друг с другом.

Что такое написать сообщение, мы теперь хорошо знаем. Это значит достать из кармана мобильник, пошлёпать пальцами по клавиатуре и за пятьдесят секунд выдать послание, в котором ошибок будет, скорее всего, больше, чем слов; впрочем, грамматические ошибки сейчас признаются за некий как бы узаконенный телефонный жаргон.

А что такое сесть и написать обстоятельное письмо? Пусть даже и не любовное — помните, как писала Татьяна к Онегину? — нет, хотя бы письмо старинному другу, в котором ты делишься с ним новостями и мыслями. Даже если оставить в стороне совсем уж романтические атрибуты эпистолярной культуры — потрескивание свечи и поскрипывание гусиного пера, а затем прижимание к расплавленному сургучу перстня-печати, — но и вполне прозаическое и современное нам письмо всё же требует совершенно особого состояния души и ума. Склоняясь над бумажным листом и обдумывая фразы, ты неизбежно обращаешь свой внутренний взор на себя самого, чтоб увидеть, кто ты таков, как живёшь и что можешь сказать человеку, с которым долго не виделся? Сам чистый лист, над которым ты замер в напряжённой задумчивости, как бы задаёт тебе эти вопросы; и если ты начнёшь отвечать на них честно, то из тех строчек, что будут ложиться на поле бумаги, мало-помалу начнёт складываться твой же собственный автопортрет, увидеть который подчас важнее даже не адресату письма, а тебе самому. Больше того, в то время, когда ты собственноручно и вдумчиво пишешь письмо, ты пытаешься не столько изобразить себя как такового — вот он, мол, я, уж каков есть, таков есть! — сколько хочешь представить улучшенный и облагороженный собственный образ. Согласитесь: то, как мы выглядим в строчках письма, и то, каковы мы на самом деле, — персонажи различные. Но это же значит, что в каждом серьёзном письме мы создаем самих себя, пытаемся возвести свою личность к некоему, нами же сотворённому идеалу. И такое

усилие само-творения не может не сказываться на том, кто его совершает. В каком-то смысле завершает письмо уж не тот человек, что его начинал; после письма — в результате письма! — он станет лучше, добрее, умнее и глубже, чем был до минуты, когда взял в руки перо и склонился над чистым бумажным листом.

Я уж не говорю о том чуде, что представляет собою живой человеческий почерк. От первых, беспомощных и умилительных детских каракулей до шедевров, созданных кистью и тушью каких-нибудь каллиграфов Китая, от вавилонских глиняных писем до новгородских берестяных грамот — какое великое разнообразие почерков помнит письменная история человечества! Ведь каждый, кто жил и был к этой истории мало-мальски причастен — то есть был обучен письму, — оставил после себя хоть какой-то, но письменный автопортрет. Недаром графологи уверяют нас, что в целом мире нет двух одинаковых почерков и что почерк способен рассказать о человеке едва ли не больше, чем его фотография. Да что там разные люди с их разными почерками, когда и у тебя самого в разные годы и дни почерк менялся настолько, что ты сам себя в нём порою не узнавал. Перебирая старые письма и рукописи, видишь то какие-то спотыкающиеся загогулины — ох, и худо же, думаешь, было тому, кто это писал! — то почерк поспешен и смазан настолько, что ты сам не способен его разобрать (куда ты спешил? за каким ускользающим призраком гнался?); то, в редкие дни равновесия между тобою и миром твой почерк, наконец, обретал уверенность, силу и твёрдость, как взгляд и походка того, кто твёрдо идёт к ясно видимой цели.

То, что от всей человеческой жизни порой остаются лишь только слова, — и хорошо, если это слова на бумаге, которая где-то хранится, — ясно чувствуешь, если встречаешься с письмами с фронта. И кощунственной кажется мысль: а что, если б эти самые письма были написаны не живою рукою бойца, а набраны на экране компьютера или мобильного телефона? Разве можно представить себе, что за полчаса до последней атаки солдат, привалившись плечом к оплывающей глине окопа, не пишет озябшей рукой на обрывке бумаги — у меня, дескать, всё хорошо, война скоро кончится, и я к вам, родные, вернусь, — а шлёт в эфир сообщения, которые тонут в нём, как в пустоте? И если даже сообщения эти дойдут до адресата, разве будет в них столько боли и правды, сколько в этом истрёпанном, мятом бумажном клочке, сохранившем в себе жизнь и душу того, кто давным-давно рухнул мёртвым на землю, которую он защищал? И может ли быть для семьи и для целого рода что-либо дороже, чем такое письмо отца, деда, прадеда с фронта?

А поскольку все мы, без исключения, тоже воюем — каждый из нас ведёт собственный бой длиной в жизнь, — и все мы, кто раньше, кто позже, окажемся павшими, то и всё, что мы пишем по ходу жизненного сражения, можно тоже считать своего рода письмами с фронта. И хорошо, если это будут именно письма — то, что написано собственной нашей рукой, нашим почерком, что в себе сохранит нашу душу и жизнь куда дольше, чем её может хранить наше брренное тело.

ПИШУЩАЯ МАШИНКА. В нашей семье было целых две пишущие машинки: родная “Москва” и немецкая “Эрика”. И уж в чём талант немецкого народа неоспорим — так это в технике: куда было нашей громоздкой “Москве” до изящной и лёгкой германской машинки! Отец как маститый писатель работал на “Эрике” (точнее сказать, больше работала на ней моя матушка, перепечатавшая многие тысячи страниц отцовских рукописей); я же как начинающий свои первые строки выколачивал из тяжёлой “Москвы”.

Именно “выколачивал”, потому что печатание на машинке, помимо немалого нервного напряжения, требовало и физического усилия. После часа-другого работы начинали ныть плечи, шея, спина, не говоря уж о пальцах, расколоченных о клавиатуру. Но зато с самых первых литературных шагов — первых строк и страниц, отвоёванных в схватке с машинкой, — я понял, что появление на свет новых слов требует немалых усилий всего твоего существа, в том числе и напряжения мускулатуры.

Впрочем, не только тебе, но и машинке, ты чувствовал, было непросто. От ударов, которые ты ей наносил, она вся поскрипывала и хрустела, в ней лязгали тяги, звенели пружины, мелькали сверкающие, раскинутые веером, рычаги, а каретка порой разгонялась так, что её грубый толчок сотрясал корпус машинки. Иногда, торопясь поспевать за твоими пальцами, которые, в свой черёд, торопились поспеть за ускользавшею мыслью, машинка векидывала несколько своих рычагов-лапок одновременно, и они прилипали друг к другу, замирая в трогательной беспомощности парализованного насекомого. В такие моменты машинка тебе представлялась несчастным живым существом, и ты торопился помочь ей, разделяя пальцами слипшиеся рычаги и чувствуя, как буквы на них разогреты поспешной работой.

Случались неисправности и посерьёзнее. То отлетала заклёпка, соединявшая рычаги клавиш с рычагами, несущими буквы; то срывался стопор каретки, и она, лязгая, как оружейный затвор, отъезжала вправо и замирала в неестественно-выпяченном положении. Но поработав с машинкой достаточно долго и изучив её норы, ты уже знал, чего от неё можно ждать, и поломки, случавшиеся чуть ли не ежедневно, уже не приводили тебя в отчаяние. “Москва” становилась как бы твоей боевою подругой; и, как ты сам, не садясь к ней достаточно долго, уже начинал скучать по её ворчливому скрипу и лязгу, так и она, похоже, томилась в бездействии и была рада, когда, наконец, в её барабан заправлялась очередная порция бумаги.

Главным, что происходило во время работы с машинкой, было отчуждение от тебя твоего собственного сочинения — того, что покуда лежало в виде черканной-перечерканной рукописи, которую не мог прочитать никто, кроме тебя, и которая существовала поэтому пока лишь для тебя одного. Но вот ты усаживался к столу, снимал крышку с “Москвы”, затем брал из стопки три чистых белых листа и перекладывал их невесомой полупрозрачной “копиркой” (которая напоминала тебе крыло бабочки — и сухим шелестом, и ещё тем, что на пальцах от прикосновения к ней оставались следы), а затем, подровняв лист к листу, вставлял бумагу в проём позади барабана каретки. Тот приглушенный хруст, что ты слышал и чувствовал пальцами, когда проворачивал барабан, и край бумаги показывался перед тобой, — этот хруст возвещал о начале работы, и ты всегда, слыша его, внутренне собирался.

И начиналась сама печать как таковая. Твой взгляд, в основном, был скошен влево, он словно выпутывал из неопрятного, перерытого вставками и исправлениями поля рукописной страницы нити более-менее связных и вразумительных фраз, а твои губы шептали эти самые фразы, стараясь не дать им оборваться и рухнуть обратно, в то грязное и перерытое правкою рукописное поле, где их снова придётся отыскивать. А пальцы твои в это самое время ударяли по клавишам с буквами — самые частые, то есть “к”, “н” и “а”, были уже полустёрты, — торопливо пытаясь перевести то, что видят глаза, и то, что шепчут губы, в ровный ряд бисерных оттисков, чернеющих на белом поле печатной страницы.

Сейчас, представляя эту работу со стороны, я поражаюсь тому, до чего она была сложной. Одновременно работали твои руки, глаза, мозг, губы, уши — и всё это ради того, чтоб невнятная рукопись стала разборчивым текстом. Зато когда рукопись была всего лишь перепечатана на машинке, казалось, она уже вышла в свет, стала существовать независимо от породившего её автора. Я испытывал в эти минуты и облегчение, и одновременно печаль — ведь теперь то, что некогда было только моим, стало как бы и общим, — испытывал то, что, наверное, чувствует женщина, долго носившая ребёнка в себе, но затем разрешившаяся от бремени и выпустившая дитя в жизнь.

А машинка служила при этом рождении как бы повивальной бабкой. Она напряжением всего своего механизма как бы сопровождала все эти долгие роды и помогала тому, что когда-то существовало только в зародыше, в замысле, стать отпечатанным словом, фразой, страницей.

Как же не быть благодарным печатной машинке? Ведь она помогала мне стать самим собою, помогала ни много ни мало вторично родиться на свет, воплотить и назвать то неназванно-зыбкое, что бродило когда-то в туманных

потёмках души. Без печатной машинки, долгие годы служившей мне верной спутницей, меня, теперешнего, и вовсе бы не было, как не было бы и этих строк, в которых я пытаюсь признаться в любви своей давней, навеки почившей подруге.

ПОЧТА. В главе о писчих перьях я написал, что их последним прибежищем была почта, где они тихо лежали в своих желобках рядом с высохшими чернильницами. Но ведь и сама почта — та, какую запомнил и я, и мои современники, — она тоже исчезла. Теперь почты иные, с иными картинками, звуками, надписями и содержимым, и, когда заходишь на них, то не испытываешь и десятой доли того, что, бывало, испытывал я, заходя за посылкой от бабушки.

Сам запах той почты уже был особенным. Он сложно смешивался из запахов растопленного на электроплитке сургуча, запаха фанерных посылочных ящичков и обёрточной грубой бумаги, и ещё запаха ворсистого верёвочного шпагата, мотки которого лежали на упаковочных столах. Сразу припомнилось, как приёмщица обвязывала посылки. Я всё мечтал повторить те узлы, что она так сноровисто набрасывала на перекрестья верёвок, но не успел перенять секрета, некогда так меня занимавшего.

А запечатывание посылки сургучом? Это было серьёзное дело, ведь ни много ни мало — почтовая государственная печать налагалась на частный предмет, и само государство принимало его под своё покровительство. Сначала разогревался на плитке сургуч (который доселе лежал в жестяной круглой баночке в виде крошащегося коричневого комка), и его шоколадная масса становилась пахучей и мягкой, затем этот вязкий нагретый сургуч наматывался на специальную палочку, и упаковочница быстро — пока он не капнул! — переносила сургучную каплю к посылке. Медленно, словно нехотя сургуч перетекал на фанерный посылочный бок, как раз туда, где торчали хвосты обвязочного шпагата. Теперь надо было успеть, пока сургуч не застыл, схватить столбик с печатью и прижать его так, чтобы из-под него расплзлась ещё мягкая, но быстро твердевшая клякса. Когда же печать отнимали, на сургуче оставался тот самый оттиск с эмблемой почты, который и обеспечивал посылке высокое государственное покровительство.

И вот наконец заколоченную, обвязанную, надписанную и запечатанную посылку приёмщица забрасывала куда-то в угол почтовой кладовой. Для меня до сих пор остаётся таинственным фокусом то, как всего через несколько дней этот фанерный ящик (пахнущий, скажем, антоновкой или свежесоленным салом) оказывался на другом конце страны, в такой же почтовой кладовой, откуда его извлекала, сверяясь с квитанцией, другая (но чем-то неуловимо напоминавшая первую) работница почты. Нет, я, конечно, замечал на улицах и синие грузовые фургоны с надписью “Почта”, и много раз видел, как на железнодорожных станциях к составу цепляли почтовый вагон, но всё равно перемещение посылок в пространстве (да и во времени) для меня остаётся чем-то загадочным. Как будто в той комнате, где исчезала посылка, был некий таинственный ход сквозь пространство и время, что-то вроде кротовей норы, и не только посылка, но и живой человек, шагнув в эту комнату, мог телепортироваться из какого-нибудь Магадана в какой-нибудь Калининград.

Вообще, главным моим ощущением почты тех лет была сложная связь между бытовым и конкретным уютом почтового отделения — всеми этими баночками сургуча, конвертами, писчими перьями, открытками, бланками и чернильницами — с необъятным, знобяще-огромным простором страны, по которой во все её сторон разлетались посылки, письма и бандероли. По надписям на конвертах и крышках посылки можно было учить географию: *от финских*, как говорится, скал и *до пламенной Колхиды* — от этой вот почты на тихой калужской окраине тянулись незримые, но совершенно реальные связи.

Так и вся жизнь в советские годы, когда всё пространство громадной империи под названием СССР было доступным для всех её жителей (и человек, оказавшись в её удалённом конце, мог себя чувствовать почти так же дома,

как и в соседнем райцентре)... Так и вся жизнь сознавалась и ощущалась в единстве домашнего, камерного покоя, какой-то оцепенелой неподвижности существования с размахом огромных пространств и времён, в которых жил каждый из нас.

Посылки, которые мы получали на почте, преодолевали не только пространство, но проходили и сквозь времена, проникали из прошлого в будущее. Вот, к примеру, те яблоки или конфеты, которые моя бабушка собирала и упаковывала, скажем, неделю назад в своём тихом посёлке под названием Тим, настаивали меня, её внука, уже в некоем будущем и перебрасывали для меня, извлекающего пахучие и светящиеся, как фонари, шары антоновских яблок, некий мост между моим теперешним настоящим и удалившимся прошлым бабушки Марии Павловны, которое — прошлое — так осязаемо ко мне приближалось, что мерещилось, будто сама бабушка вот сейчас стоит рядом со мной.

Но ведь и любая посылка, письмо, бандероль посылаются даже не столько в пространстве, сколько во времени. Любое так называемое “почтовое отправление” путешествует из настоящего в будущее, чтобы там, где оно найдёт адресата, обратить его мысли и чувства к тому, кто ещё в прошлом послал ему эти слова или эти предметы, будучи совершенно уверенным в том, что связь между разными временами не только возможна, но и совершенно реальна.

Вот и сейчас, когда я вспоминаю почту времён моей юности, разве память не шлёт мне посылку из прошлого, чтобы сделать его настоящим? И разве то, что я, может быть, напишу вот на этой бумаге, не будет ли тоже посылкой, но уже в будущее, к тем вероятным читателям, что, возможно, получают послание от человека, уже давным-давно ничего не пишущего, не посылающего посылок, да и вообще не существующего на земле?

ПРИМУС. Оказывается, я живу на свете так долго, что многие вещи, среди которых я рос, теперь можно встретить только в музее. Это и грампластинки, и плёночные магнитофоны, и ламповые телевизоры, и арифмометры — кто сейчас знает, что это такое? — и перьевые ручки с чернильницами, и деревянные лыжи с ременными креплениями и палками из коленчатого бамбука. Да что там! Я застал ещё керосиновые лампы “летучая мышь” и земляные полы в курских хатах, крытых картофельной ботвой! А если держаться кухонной темы, то я современник примусов и керогазов. Вот поди растолкуй молодёжи, что это за звери и в чём их различие, хотя это различие полвека назад было столь очевидным, что не нуждалось ни в каких разъяснениях.

Например, примус. Соответствуя громкому имени (“примус”, кто помнит латынь, значит “первый”), это устройство действительно громко гудело — в отличие от почти безголосого керогаза. Когда мы приезжали гостить к моей бабушке по отцу, Марии Павловне Паниуковой (в посёлке Тим её называли короче: Марь-Пална), примус на её крохотной кухоньке пел-гудел чуть не круглые сутки. Раньше, чем начинали орать соседские петухи и ворковать голуби на улицах Тима, начинал гудеть бабушкин примус; под его тугой посвист мы нередко и просыпались. Так и вижу: бабушка двигает поршнем насоса, потом, напряжённо морщась, подносит спичку к горелке — и вспыхивает тугое, гудящее пламя, которое, кажется, хочет порвать на клочки самоё себя.

Стряпня на кухне Марь-Палны шла с утра и до позднего вечера; руки бабушки, а порой даже щёки были то припорошены белой мукой, то блестели серебром чешуи (каких карасей, нами же пойманных, она нам нажаривала!), то краснели от фарша котлет — тех незабвенных котлет, вкуснее которых мне ничего, никогда и нигде не доводилось пробовать. А лапша, янтарные блёстки которой как будто светились? А кисло-сладкие блинчики, тонко-ажурные, словно брабантские кружева? А вареники с вишнями, от алого сока которых густая сметана, накрывшая их, приобретала цвет нежно-розового заката?

Несравненное кулинарное мастерство моей бабушки было признано всеми в посёлке. Доходило до эпизодов комических. Однажды тимские пьяницы

проникли в погреб Марь-Палны, чтобы похитить подложины банок компотов — вишнёвых, грушевых и яблочных, — готовить которые бабушка также была мастерица. Она, помню, рассказывала об этой краже хоть, конечно, и с возмущением, но и с тайною гордостью — как о высшем признании своего кулинарного мастерства.

Секрет же — точнее, один из секретов — её кулинарных успехов был в том, что Марь-Пална относилась с доверием и уважением к рецептуре, то есть готовила блюда именно так, как это было предписано в книгах, журналах или, скажем, на листках отрывного настенного календаря. Она всё выполняла с буквально аптекарской точностью, не допуская никакой отсебятини, и результат выходил потрясающе вкусным.

Слова “с аптекарской точностью” — не просто речевая фигура. Бабушка всю жизнь работала провизором поселковой аптеки, то есть человеком, составляющим лекарственные смеси. Поэтому и привычка к аптекарской педантичности, — согласитесь, диковинная для русского человека! — и уверенность в том, что мир в целом устроен разумно и правильно, — это жило в бабушке неистребимо.

Вот и бабушкин примус — он тоже доказывал всей своею эстетикой и технической статью, всем разумным удобством устройства, что всё можно сделать правильно, аккуратно и точно, и беда лишь в нашем собственном безрассудстве и разгильдяйстве. В этом смысле примус нам демонстрировал целое мировоззрение: веру в технику и в прогресс, в порядочность и в порядок, веру, в конце концов, в “человека разумного”.

Жаль, что ныне от этой веры, уютной и старомодной, почти не осталось следов. Во разве что примус напоминает о ней — точнее, не сам даже примус, а моё детское воспоминание о нём. Как-то очень отрадно представлять блеск лагунных боков, тугой ход поршня-насоса, сипение керосина, распыляемого форсункой, и, наконец, тот волнующий посвист, с которым под днищем кастрюли дрожало упругое синее пламя. Этот свист замолкал, только если форсунка засорялась. И тогда бабушка звала на подмогу внука. Чтобы прочистить форсунку, требовались мои молодые глаза — это и было моим скромным вкладом в тимские пиры. Имелся особый предмет — “прочисталка” — жестяная пластинка с тонким, припаянным к ней, стальным волоском. Этим волоском надо было попасть в засорившееся отверстие, чтобы наш примус опять загудел, и вновь закипела кастрюля с борщом или зашкворчала сковорода с картофельными оладьями.

Где ж ты теперь, наш тимской примус? Неужели ты жив только в памяти да вот на этих страницах, где я пытаюсь тебя воскресить? Но слава Богу уже и за то, что всё это было: и гудение примуса в утренних сумерках, и бабушка в тёмно-вишнёвом халате, и стук её скалки о стол, припорошенный белой мукой, и упоительный запах оладий, и весь тот уют тимской кухни, который, как нам казалось тогда, будет вечен и который, быть может, доселе хранится в ином, лучшем мире. Почему, в конце концов, кто-то решил, что рай — это какие-то там неперменные кущи с амброзией, арфами и фиамом? Рай — это место, исполненное любви; а мало кто был настолько же полон любовью, как бабушка Мария Павловна, без усталости хлопотавшая ради нас в тесном сумраке кухни, под нежный и чуть шепелявый свист примуса.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ. Чтобы отец меня в детстве специально воспитывал или вообще как-либо мной занимался, я что-то не помню, — возможно, это и есть наилучшая педагогическая система, — но зато помню, как мы с ним вечерами слушали Баха. Мне было лет семь или восемь; отцу — чуть за тридцать (даже не верится, что он был таким молодым и что я теперь по сравнению с ним, тогдашним, — старик); и вот мы после ужина, пока мама ещё гремела посудой на кухне, запускали проигрыватель, называвшийся, если не ошибаюсь, “Аккорд”, и оба укладывались на тахту в тёмной комнате. Света мы не зажигали нарочно: я и сейчас думаю, что музыку слушать лучше всего в темноте, чтобы всегда отвлекающий нас мир форм и цвета не мешал погружаться в мир звуков.

Но сначала мы слышали вовсе не музыку, а дзылку и треск, с которыми вращался диск проигрывателя. Правда, отец называл это повторяющееся поскрипывание куда романтичнее, чем я сейчас: “Слышишь, — говорил он мне, — словно костерок потрескивает, правда?”

Потом вдруг звучала густая, тягучая нота органа. Она пробивалась, тянулась к нам из темноты сквозь шумы и трески, которые производил задыхающийся “Аккорд”. Преодолеть помехи было непросто, и музыкальная фраза словно бы мучилась в поисках выхода из первоначальной глухой немоты. Но голос органа становился всё вытнее, громче, настойчивей; он так сложно-затейливо и в то же время однообразно клубился, что я отчего-то представлял себе пасеку прадеда в полдень, где пчёлы гудели вот так же сложно и вместе с тем однообразно.

“Аккорд” всё скрипел и шипел, а органная fuga звучала во тьме; и эта борьба шума с музыкой длилась всё время, пока мы слушали хриплый проигрыватель. Одолевал то Бах, то проигрыватель “Аккорд”; то победный, гудящий и торжествующий рёв органа вытеснял собой всё, что было в комнате, в доме и в целом мире, то, когда fuga слабела и затихала, она почти пропадала за плотной завесой из треска и шелеста, в котором был различим и шорох иглы по бороздкам пластинки, и трение диска о корпус, и даже поскрипывание приводного ремня.

И я сейчас думаю: как же прекрасно, что наш “Аккорд” был так чудовищно плох! Ведь именно благодаря этой сложной борьбе шума с музыкой, которую я наблюдал, — точнее, наслушивал — чуть ли не ежевечерне, в меня вошло важное знание о соотношении изначального хаоса и сотворённой позднее гармонии. Передо мной в темноте комнаты разворачивалась целая космогония, я словно присутствовал при зарождении космоса. И хаос — то есть все те шумы, что в таком изобилии производил наш “Аккорд”, — был музыкальному космосу Баха необходим, он был той изначальной средой, из которой, враждую и споря, страдая и мучась, рождались прекрасные и гармоничные звуки. Но хаос — он тоже по-своему тосковал в ожидании музыки; и когда на скрипучий, сухой механизм изливались обильные воды органа, всем измученным сочлененьям “Аккорда” делалось словно бы легче.

Но знание о том, как сосуществуют хаос и космос, было не единственным знанием, что мне подарили наши органные “пятиминутки” (именно так называл их отец, хотя на самом-то деле они длились дольше). Я понимал ещё нечто, лежащее глубже изложенной только что — согласитесь, весьма примитивной — космогонической схемы. Когда я не одним только слухом, но и всем существом ощущал, что музыка появляется и приближается, как бы вливается к нам из самых глубинных и недоступных сознанию недр темноты — вот именно, что “de profundis”, из бездны! — то я начинал понимать, что там, в глубине существует гармония. “Ночь не страшна, она полна красоты” — вот краткая формула, выражавшая то, чем меня одарили органные “пятиминутки”. По сути, те вечера, когда мы с отцом лежали впотьмах на тахте, а клубящийся ветер органа то завывал, то стихал, то снова подхватывал нас, были для меня доказательством существования той благой силы, из которой рождается вообще всё, что есть в мире: и ночь, и органные fugи, и мы с отцом, и даже тот старый, хрипящий проигрыватель “Аккорд”, который вроде бы и сопротивлялся музыке, но на самом-то деле служил её верным проводником.

ПРЯТКИ. Вот тоже одна из древнейших игр человечества, ведь люди всюду во все времена делились на тех, кто как-либо хоронится, и на тех, кто их ищет. И хоть роли в игре обычно распределял жребий или считалка (ещё одна интересная тема — этакая игра в игре), но всегда было видно, кто любит “водить”, а кто — прятаться. Думаю, большинство начальников выросло из первых, а большинство вольных художников — из вторых.

Я любил прятаться. И пока водящий, припав лицом к стволу дерева, размеренно-громко считал — обычно до десяти, — все остальные, врассыпную и сломяголову, кидались искать места, где бы им схорониться. Прыгнуть в канаву или кусты, забраться на дерево, юркнуть в двери подъезда,

просто приписать к земле там, где трава гуще, — всё годилось для нас, беглецов. Но вот водящий заканчивал счёт, скороговоркой выкрикивал: “Раз, два, три, четыре, пять — я иду искать!” — и обязательно добавлял: “Кто не спрятался — я не виноват!”

Пока он бродил взад-вперёд, пока старался разглядеть в кустах чью-либо спину или затылок, чтобы, злорадно захохотав, тут же метнуться обратно к “водильному” дереву, шлёпнуть ладонью о ствол и закричать: “Стуки-палочки — вижу-вижу!” — всё это время ты лежал, вжавшись в землю, в какой-нибудь затравеннейшей канаве. Когда шаги и голос водящего приближались, ты переставал даже дышать и боялся, что тебя выдаст торпливо и громко стучащее сердце. Когда же водящий начинал отдаляться, ты переводил дыхание и осторожно приподнимал голову, чтоб сквозь траву посмотреть: что творится у дерева? Там скучали те, кто уже был найден, — как мы выражались, “застукан”, — и кто-то из них, не то из врождённой угодливости, не то из желания приблизить конец игры, начинал помогать водящему и тоже высматривать тех, кто ещё не обнаружен. Таких “стукачей” никто не любил, да и они, похоже, в глубине души сами себя презирали, но почему-то они никогда не переводились ни в играх, ни в жизни.

А игра продолжалась. Почти все уже выбрались из своих укрытий — кого-то водящий “застукал”, кто-то успел его опередить, подбежал и коснулся заветного дерева первым, торжествующе крикнув: “Стуки-палочки, выручалочки!” — и найти, как ни странно, не удавалось тебя одного. И вот пока ты лежал, так удачно укрывшись в канаве, — а игра всем, похоже, наскучила, про тебя как бы забыли и уже были готовы заняться чем-то ещё, — вот тогда тебя посещало то редкое состояние, которое я называю “мир без меня”. Ты так здорово спрятался, что словно вовсе исчез — тебя больше не было в мире. Это было и жутковато — аж холодок пронзал грудь: как же, мол, так — все есть, а меня нет? — но было и чем-то отраднo. В эти секунды с тебя словно снимался весь груз и долг бытия, это был как бы опыт собственной смерти, но только не той, когда ты совсем уже канул в небытие, а такой, когда в мире ещё остаётся твой взгляд. Этот взгляд был направлен как будто “оттуда”, из-за черты, разделяющей “жизнь” и “не-жизнь”, и он видел всё, что встречалось ему, с особенной, всё замечавшею зоркостью. Трава, паутинные нити на ней, жук-бронзовка на гибко согнувшемся стебле, рыжий котёнок на дереве или пёстрая курица, что копошится в пыли, — всё, что ты видел, было наполнено столь пронзительным смыслом, что ни ума, ни души не хватало, чтобы всё это выразить и осознать. Ты теперь знал: мир прекрасен и полон, и то, что ты как бы исчез из него, несколько не повредило его полноте. Но раз ты был в этом увере, то, даже исчезнув из мира, какою-то частью ты в нём сохранялся...

Эта догадка была столь велика и важна, что ты дольше не мог оставаться лежать в этой мелкой канаве. И пусть водящий был много ближе тебя от “водильного” дерева, но ты вскакивал и бежал к нему с той решительной и безоглядной силой, с какой вырываются лишь из лап смерти. Удивлённый водящий успевал только увидеть тебя, повернуться и сделать пару шагов под свист и улюлюканье зрителей вашего с ним поединка, как ты уже был возле дерева, и припадал к нему всем задыхавшимся телом.

— Стуки... палочки! — выкрикивал ты, сознавая в прекрасную эту секунду, что ты жив, что ты есть в этом мире и не собираешься из него исчезать.

“РВАННЫЙ”. Так называли бумажную ассигнацию достоинством один рубль. А “рваным” называли рубль потому, что, во-первых, именно такие бумажки были самыми распространёнными и проходили поэтому через множество рук, кошелеков и карманов; а во-вторых, жизнь была так стабильна, что печатный станок запускали редко, и захватанная, затрёпанная, часто и впрямь надорванная рублёвка доходила до состояния, когда её, кажется, можно было и съесть, положив на кусок хлеба, словно ломтик мягкого желтоватого сала. Вообще держать в руках новые денежные купюры — жёсткие и шелестящие в пальцах, словно змеиная кожа, — мне всегда было как-то противно. Но эта тактильная неприязнь совершенно не относилась

к потрёпанному рублю, такому приятно-мягкому, что он казался тряпичным. И хоть “рваный” был самой мелкой бумажной купюрой, но каждый, владеющий им, ощущал себя пусть и не богачом, но человеком вполне состоятельным, особенно если он был студентом, и крупных денег у него отроду и не водилось. Помните, что можно было сделать, имея в кармане рубль? Может, сходить в кино с девушкой, да ещё и купить там в буфете мороженого или лимонада? Да запросто. Или, скажем, от души попариться в бане, а потом выпить пива в ближайшей “стекляшке”? Рубля не только хватало на это, но на сдачу с него — оставалась горсть мелочи — можно было вкусить ещё множество радостей жизни. В столовой на рубль можно было хорошо пообедать, и даже не одному, а вдвоём. А койка в гостинице? Она стоила именно рубль, о чём даже пелось в одной популярной в те годы песне: “Живёт он третий день в гостинице районной, где койка у окна всего лишь по рублю...”

Так что рубль — он же “рваный” — был, с одной стороны, чем-то простецким и общедоступным (чуть не любой забулдыга, порывшись в карманах, мог извлечь на свет Божий этот жёлтый, истрёпанный, мятый лоскут); а с другой стороны, рубль обеспечивал человеку некое положение в обществе. И на вопрос, есть ли деньги, тот, у кого за душою был рубль, мог честно ответить: “Да, кое-что есть...”

Если же на какие-либо удовольствия — например, на бутылку — рубля не хватало, то происходил тот самый процесс слияния капиталов, о котором рассказывалось в учебнике политэкономии. Только в народе экономический этот процесс назывался иначе: “скидываться на троих”. Но опять-таки основной единицей такого слияния капиталов был именно наш друг “рваный”. В сущности, рубль был финансовым стержнем и символом целой эпохи. Действительно, если рубли, обращавшиеся в стране, доходили до состояния “рваных”, значит, жизнь в ней была так неизменна, какой она может быть только в раю. Мы и жили, по сути, в социальном раю, но узнали об этом потом, когда его потеряли. Нельзя не признать, что в трагической русской истории было мало эпох, сравнимых по благополучию с дремотной эпохой “застоя”.

Помню, уже в институте один из остроумных преподавателей судебной медицины объяснял нам, как можно примерно определить давность подкожного кровоподтёка. “Представьте, — говорил он, — что вы размениваете красный червонец на всё более мелкие деньги: на пятёрки, трёшки и, наконец, рубли. Так вот, точно так, как меняется цвет этих купюр, каждые двое суток будет меняться и цвет кровоподтёка. Сначала из красного он станет синим, как пятёрка, затем позеленеет, как трёшка, и, наконец, пожелтеет, как рубль”. Вот мне порою и кажется, что тот желтоватый рубль-“рваный” и был своего рода остаточным кровоподтёком — тем, что сохранилось от “красных”, кровавых, по-настоящему страшных времён, от эпох революций и войн, но со временем всё это выцвело и пожелтело, и уже мало что говорило о своём изначальном происхождении. Мы жили, почти позабыв и о прошлых трагедиях (тем более, нашего поколения напрямую они не коснулись) и мало волнуясь о том, что ждёт нас в грядущем; а “рваный” служил своего рода пропуском в наш сонный рай.

РЕМЕННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ. Чем-то те ременные крепления лыж напоминали конскую упряжь, а валенок, обхваченный ими, — добрую конскую морду. Да, и ещё запах кожи, кисловатый, живой и особенно сильный тогда, когда заледенелые лыжи оттаивали в тепле. Он тоже напоминал о былой жизни, которая сохранилась в памяти запахов — самой, может быть, цепкой и неугашающей памяти.

Конечно, те лыжи теперь — деревянные лыжи с креплениями из кожаных или брезентовых ремешков — сделались давним прошлым, как и суставчатые бамбуковые палки, кольца которых держались на лентах из той же грубой и пахнущей конскою упряжью кожи. И сейчас только ради забавы можно заставить кого-то нацепить лыжи с ременными креплениями — да и где их найдёшь? — и взять в руки вместо невесомых карбоновых толстые

и неудобные палки из колочатого бамбука. А уж думать о том, чтобы в них побежать или съехать с горы — это надо совсем уж впасть в детство.

Но с другой стороны, отчего б и не впасть, если в том детстве было много такого, чего дети нынешние не могут себе даже представить? Вот я только что вспомнил о запахе кожаных лыжных креплений, и тут же припомнился запах лыжной смолы, один из чудеснейших зимних запахов детства. Смолили лыжи затем, чтоб они дольше держали мазь; и всю зиму, пока лыжи стояли в углу коридора, наша квартира была наполнена тонким, порою едва уловимым дыханьем соснового леса. Запах смолы становился сильнее, когда ты растирал мазь пробкой, когда по нагретой от трения поверхности ложилась маслянистая плёнка, тоже пахнувшая так вкусно, что лыжку хотелось порою укусить.

Но хватит о запахах. Они своё дело сделали — память проснулась, — и теперь можно, мысленно нацепив свои детские лыжи и взяв в руки палки, отправляться в овраг, любимое место наших зимних катаний. Вот ведь странно: город приблизился к нам и к оврагу вплотную, да что там приблизился — он нас окружил, но сейчас (то есть в зимы тех лет, когда я пишу эти воспоминания) на девственно-чистых склонах оврага не найти ни единой лыжни или рытвины, оставленной тем, кто, не устояв на ногах, покатился по снегу.

В дни нашего детства всё было наоборот: трудно было найти снежный склон, не избитый, не изъезженный и прямо-таки перепаханный азартно катавшимися детьми. И хоть я сам был не мастер катания с горок, но ни одного свободного зимнего дня не мог представить без лыж, без того, чтобы не попытаться, напрямую или наискось, съехать по склону к ручью, а потом вновь поспешно карабкаться “ёлочкой”, “лесенкой” или как придётся на занесённые снегом склоны оврага.

Были на нашей Бушмановке (так называется пригород, где я живу) и настоящие виртуозы катания с гор. Особенным шиком считалось кататься на лыжах настолько коротких, обрубленных сзади по самую пятку валенка, что они напоминали скорее коньки. И вот на таких куцых лыжах бушмановские акробаты показывали то, что позднее назовут “фристайлом” — свободным стилем: пируэты, зигзаги, скольженья, прыжки и даже настоящие сальто-мортале или “смертельные кувырки”.

Не забуду губастого, с виду нескладного парня (ему было лет пятнадцать-шестнадцать, и мы, двенадцатилетние, смотрели на него буквально с открытыми — несмотря на мороз — ртами): он-то как раз и показывал эти самые сальто-мортале. Одет он был в задрипанное пальтишко без пуговиц и в рыжую шапку-ушанку, которая то и дело слетала с лохматой его головы. И вот этот парень на куцых лыжах, немногим длинней его валенок, перетянутых ременными креплениями, взбирался на насыпь железной дороги, откуда был самый крутой и стремительный спуск, и, низко присев, начинал съезжать вниз. Скорость его разгона мало чем отличалась от ускорения свободного падения, и только разлетавшиеся полы пальто немного притормаживали полёт храбреца.

А внизу, у ручья, был устроен трамплин, на который наш лыжник даже не то, что везжал, а почти ударялся об его заледенелый изгиб. И этот трамплин с силой подбрасывал парня вверх! Тот раскидывал руки, рыжая шапка-ушанка отделялась от его запрокинутой головы, и на какой-то кратчайший, но навсегда сохранившийся в моей памяти миг лыжник оказывался словно впечатанным в небо: руки в стороны, куцые лыжи вверх, а рыжая шапка ещё в полуметре от снега...

Как ни странно, но лыжнику после такого сальто-мортале почти всегда удавалось устоять на ногах, да ещё, сделав лихой разворот, подхватить со снега упавшую шапку и нахлобучить её на голову. И теперь никакой из тех невероятно сложных прыжков, которые я порою вижу по телевизору, — а уж что только не вытворяют виртуозы фристайла! — не вызывает во мне такого же изумления и восхищения, что оставил губастый тот парень, взлетавший в кургузом своём пальтеце и лыжах-обрубках с ременными креплениями. Думаю, жизнь его была непроста, наверное, он очень скоро куда-нибудь из неё “улетел”, потому что не может спокойно и счастливо жить человек,

уже с ранней юности вытворяющий непостижимые и невозможные салто-мортале.

СЕЛЬПО. Как я понимаю, “сельпо” — это было сокращённое наименование магазинов сельской потребительской кооперации; но этимология этого слова тогда мало кого интересовала. Достаточно было того, что оно, сельпо, существовало, и там можно было купить всё, что нужно для жизни, от кульки пряников до косы, топора или пары сапог.

“В сельпо”, “из сельпо”, “у сельпо”, “до сельпо” — звучало, как привычный рефрен моего деревенского раннего детства. И оно же, сельпо, было истинным центром нашего Выгорного: где ещё, кроме как разве по вечерам, встречая бредущее с выгона стадо, могли видеться и общаться односельчане?

Мне лавка сельпо вспоминается отчего-то в жару, в то полдненное пекло, когда доски его крыльца были горячими, а внутрь, в полумрак магазина, ты нырял, как в спасительный омут прохлады. Брунзжание мух слышалось прежде всего, оно раздавалось с тех липких лент, что свисали там и сям с потолка и были усеяны двукрылыми жертвами, безуспешно пытавшимися оторваться от клея. Впрочем, в сельпо было так хорошо, так дремотно-спокойно, что прилипшие мухи сопротивлялись судьбе не особенно долго и скоро стихали, смиренные и неподвижные.

Ты подходил к прилавку — твоя пятилетняя голова едва приподнималась над ним — и начинал рассматривать вещи, часть из которых ты уже видел в работе, а о назначении прочих мог только догадываться. Из инструментов ты знал топор, молоток, лопату и тяпку — то, чем часто пользовались прадед и бабушка, а вот разные там гвоздодёры, лучковые пилы, зубила или рубанки были тебе пока неизвестны и вызвали поэтому особый, почтительный интерес. Вообще та давнишняя лавка сельпо, которую я вижу в памяти, была настоящим музеем ныне исчезнувших из повседневного обихода вещей. Ряды керосиновых ламп и рядом, в углу, бидон остро пахнущего керосина, керогазы и примусы, детали печей — чугунные кольца и дверцы, заслонки, колосники, — потом ещё разнокалиберные чугунки, мучные решёта, пчеловодческие сетки и дымари, деревянные грабли — и эти, и ещё множество разнообразных предметов лежало на полках и стояло за прилавком сельпо, создавая вокруг себя ауру самодостаточной и устойчивой жизни. Всё, что человеку необходимо в быту, от продуктов питания до инструментов, одежды и обуви, продавалось в единственной лавке сельпо.

Самым людным отделом сельпо, где почти непрерывно толклись покупатели, был продуктовый. И, насмотревшись на инструменты, ты потихоньку перемещался туда. Здесь пахло селёдкой, подсолнечным маслом и хлебом, буханки которого, чернея подгорелыми корками, были сложены позади продавщицы. А отмерялось всё на весах — я застал ещё чашечные, с блестящими разнокалиберными гирьками, — и то, как продавщица отпускала товар, наблюдать тоже было до крайности интересно. У каждой из двух кольчавшихся чашек весов торчал как бы клювик, и продавщица всё время пыталась привести эти клювики в равновесие. И мне её было искренне жаль, потому что клювам весов очень редко и ненадолго удавалось сравняться. А уж что продавщица только не делала: и кидала на чашки весов какие-нибудь слипшиеся пряники или конфеты, и подсыпала в кульки из большого совка крупу или сахар-песок, и бросала на чаши блестящие гирьки, но клювы весов как качались, так и продолжали качаться, и сойтись-замереть друг около друга — как бы поцеловаться — им никак не удавалось.

Но зато с той поры, как я наблюдал за весами в сельпо, я понял, что всякое равновесие в жизни так мимолётно и неуловимо, что лучше говорить даже не об устойчивом равновесии — кто и когда его достигал? — а о нашем стремлении к нему. Правда, той продавщице (как я осознал много позже), стабильное равновесие чашек весов было, скорее всего, ни к чему: весь её интерес и состоял в приблизительной зыбкости мер и весов, в том зазоре, что возникал меж наличным и должным.

Но ведь точно в таком же зазоре — как бы в промежутке между наличной реальностью и идеалом — протекает жизнь и любого из нас; и мы точно

так же, как та продавица в сельпо, внешне вроде бы и стремимся к тому, чтобы чаши весов нашей жизни наконец-то сравнялись и замерли в равновесии, но на самом-то деле хотим лишь того, чтоб они продолжали и продолжали качаться...

СТАРЫЕ СКАМЬИ. Может, где-то они и остались, те старые парковые скамьи, представлявшие собой как бы две деревянные волны, плавно перетекавшие друг в друга. Одна волна служила спинкой, другая — сиденьем, и на них не то, что присесть, но даже и просто смотреть было очень приятно.

Существует легенда, что их проект утвердил лично Сталин для того, чтобы во всех санаториях, парках и на бульварах страны граждане могли, присев, отдохнуть от трудов по строительству светлого будущего. Так ли это, теперь сказать трудно; но мне кажется, что именно эти скамьи являлись не просто одной из характерных деталей той жизни, но были предметом, без которого и судьба, и весь облик страны оказались бы в чём-то важном иными. Дело в том, что той жёстко, а часто и прямо жестокой эпохе недоставало чего-то уютного и человеческого, как раз вот того, что собой выражали плавные, женственные изгибы скамьи. Кто знает, возможно, многие люди сломались бы раньше — суровая жизнь сокрушила бы их, — не будь у них редкой возможности посидеть на такой вот удобнейшей, прямо-таки обнимающей тело скамье.

Эти скамьи были излюбленным местом любовных свиданий, и чуть ли не третьим участником их, но только не лишним, а, напротив, всегда помогавшим сближению. Свободная скамья всегда была целью поисков пары, гуляющей где-нибудь в парке, и служила ей верным пристанищем. Невинное вроде бы предложение, исходящее от кавалера: “Присядем?” — с уклончивым дамским ответом: “Ну, если хочешь, давай...” — нередко являлись началом большого романа. И в самом деле, не стоя же и не на ходу начинать нести тот сумбурный и сбивчивый вздор, на который парню бывает непросто решиться, но которого так ждёт девушка? А вот устроившись на удобной скамье, которая всей своею конструкцией как бы пододвигала сидящих друг к другу, чего только не скажешь и чего не услышишь в ответ!

А как легко и естественно, словно сами собою, случались на этой скамье и объятия, и поцелуи? Разве можно, присев рядом с девушкой, не забросить одну свою руку на спинку скамьи, откуда она вскоре как бы невзначай соскальзывала на девичьи плечи? Или вот поцелуй. Да сама геометрия той скамьи — её высота, глубина и радиусы изгибов — делала ваш поцелуй почти неизбежным. Девушка, как ей и положено, вначале застенчиво отклоняла голову, но спинка скамьи (твой союзник!) останавливала её, и твои губы, как пишут в старинных романах, срывали мёд поцелуя...

Я мог бы продолжить любовную тему — чего только не видели старые эти скамьи! — но стоит, пожалуй, вовремя остановиться, оставив простор воображению молодых читателей и место воспоминаниям пожилых. Тем более, что парковые скамьи принадлежали не только влюблённым. С утра на них высаживались пенсионеры; затем приходили молодые мамы с детьми, и, пока дамы щебетали друг с другом, их детки превращали скамью в полигон увлекательных игр; случалось, что сбежавшие с уроков школьники, бросив портфели и ранцы, коротали здесь время до начала киносеанса; или, скажем, закончив рабочую смену, на этой скамье могли оказаться два-три заводских мужика, после которых за спинкой скамьи оставалась пустая бутылка из-под “Столичной” или “Аромата садов”. То есть скамья служила истинным центром городской жизни: на ней сидели студенты и инвалиды, влюблённые и алкоголики, генералы в отставке и дембеля, слесари высших разрядов и заслуженные артисты — сидел, словом, народ, для которого эта скамья была хоть и временной, но такою желанной и верной поддержкой в их жизни.

СТЕКЛОТАРА. Стеклотара тех лет обладала особенным свойством: это были своего рода параллельные деньги, существовавшие наряду с пятаками, полтинниками или рублями. И даже оставшись без гроша в кармане, ты мог

особо не переживать, потому что и в городских подворотнях, и в уличных урнах, и на стадионных трибунах, и в кустах парка или сквера ты мог обнаружить призывный блеск порожних бутылок, которые в результате несложных манипуляций легко превращались в дензнаки. И эти стеклянные “деньги” валялись буквально у нас под ногами. То есть жизнь была устроена так, что она никому не давала совсем уж пропасть: если даже почему-либо не срабатывали институты социальной поддержки (хоть они и работали, сколько я помню, исправно), то уж институт под названием “сдать стеклотару” не подвёл никого, никогда и нигде.

Но, может статься, нынешняя молодёжь и в глаза-то не видывала стеклотары прошлого века? Тогда я спешу дать короткие, но необходимые пояснения. Стеклотара была двух основных разновидностей: молочная и пивная. Но звания стеклотары удостоивалась не каждая пустая бутылка. Она должна быть чиста, свободна от этикеток и, разумеется, не иметь сколов на горлышках. Да, ещё интересный момент: если стать стеклотарой претендовала бутылка из-под вина (за неё давали 17 копеек), но в ней болталась пробка, то такая бутылка приёмщицей решительно отвергалась. А поскольку открывание винных бутылок методом “продавить пробку внутрь” было очень распространённым, то и проблема извлечения пробок становилась насущной задачей.

И до чего же мы ловко решали её! Это было похоже на фокус, секретом которого мне давно пора поделиться: не уносить же его, в самом деле, с собой? Итак, берёшь обувной шнурок, складываешь вдвое и опускаешь петлю внутрь бутылки. Потом, потрясая тяжёлым бутылочным телом, надо поймать пробку в петлю, причём то, как она в неё ляжет, не имело никакого значения для результата. И вот — внимание, почтеннейшая публика! — ты с силою тянешь шнурок — и пробка, сначала туго пища, а потом хлопнув, вылетает вместе с мокрой верёвочкой наружу! Возле жестяных бudoк с надписью “Приём стеклотары” порою лежали целые россыпи пробок, извлечённых вышеописанным способом; их, понятное дело, не принимали, и они годились разве что на поплавки. А на ветках ближайших деревьев были заботливо развешаны шнурки — те самые, без которых пробочный фокус был невозможен.

Может, вам интересен курс тогдашней стеклянной валюты, то есть сколько мы выручали за каждую из отмытых, очищенных от этикеток и успешно сданных бутылок? Этот курс оставался неизменен — стеклянные деньги, во всех смыслах слова, были самыми твёрдыми — и его безошибочно, разбуди хоть среди ночи, мог назвать каждый житель страны. Зелёная пивная бутылка стоила двенадцать копеек*, а молочная широкогорлая — пятнадцать. И это были совсем не пустяшные деньги: на выручку от пивной бутылки ты мог купить сливочное мороженое, а молочная стоила почти столько же, сколько буханка хлеба.

Однажды, учась на втором курсе мединститута, мы с приятелем решили пропустить скучнейшую лекцию по политэкономии и заняться политэкономией прикладной: сдать бутылки, что накопились за целый семестр в нашей комнате. А тогдашнем жаргоне это называлось “сдачей пушнины”. И вот чуть не полдня мы таскали гремящие сумки по коридору общаги в туалет и обратно — бутылки сначала следовало отмыть, — а потом с гроыхающей ношей ехали на трамвае через весь город, туда, где работал единственный в этот день пункт приёмки. Зато, когда мы всё это сдали, — а разнообразных бутылок у нас оказалось чуть больше полутора сотен, — то сделались по студенческим меркам настоящими богачами: мы выручили что-то около двадцати рублей. И, разумеется, тут же начали тратить их на новую стеклотару, но уже полным пивом “Ячменный колос”.

Такой вот происходил в той жизни “тарооборот”: мы покупали бутылки полные, а сдавали пустые, чтобы вновь взять бутылки с вином, молоком или пивом, и была во всём этом какая-то трогательная и доверительная простота. Ведь за годы такого всеобщего “тарооборота” могло получиться, что из одних и тех же — буквально! — бутылок пили шофёры и генералы, колхозники

* Правда, к середине восьмидесятых их цена поднялась до 20 копеек.

и студенты, заводские рабочие и пастихи, институтские преподаватели и пенсионеры. Бутылки ходили по кругу, в каком-то всеобщем и равном застолье, и, кстати, сдавать стеклотару, возможно, ещё и поэтому ничуть не считалось заторным. Попользовался бутылкой — так скорее верни её в магазин или пункт приёма; может, её ждёт не дожждётся какой-нибудь страдающий от похмелья народный артист или академик? Так что единство и равенство граждан Союза крепилось ещё и таким неожиданным способом, как приём стеклотары: он обеспечивал некий всеобщий, десятилетия дивившийся пир из общей посуды в единой стране.

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТЯДЫ. Говорят, их пытаются возродить... Не знаю, возможно ли это? Конечно, сколотить из студентов бригаду и послать её что-либо строить, наверное, можно, но это нисколько не будет напоминать того стройотрядовского движения, что когда-то охватывало всю страну. Чтобы возродить советские стройотряды прошлого века, надо, как минимум, возродить СССР, а такое, как вы понимаете, вряд ли произойдёт.

Я, к счастью, застал стройотряды, и целых пять лет в летний каникулярный сезон отработал на стройках Смоленщины. Может, лучшего времени в моей жизни и не было: ни того азарта работы, — а работали мы от темна до темна, часов по двенадцать-четыре в сутки, — ни такого запаса физических сил, ни такой мышечной радости, ни, наконец, того чувства свободы, какое бывает лишь в юности, когда жизнь, что раскинулась перед тобою, кажется и доступной, и бесконечной одновременно. И всё, чем мы там занимались, казалось игрой, как бы только приготовлением к жизни; а уж если игра была так хороша, то как же должна быть прекрасна сама ожидавшая нас настоящая жизнь...

Столь мертвецким сном, как тогда, в стройотрядах, — я не спал никогда. Едва касался щекою подушки и закрывал глаза, как словно в ту же секунду я слышал неумолимый жестяной стрёкот будильника и понимал, что пора подниматься. Куда подевались шесть часов сна, оставалось тайной. Как сомнамбула, в сонном недоумении ты выходил во двор — рассветный туман такой, что в десяти шагах ничего не разглядеть! — и нажимал на холодный мокрый рычаг водоразборной колонки. Она урчала, гудела, тряслась, и в твой склонённый затылок и спину вонзалась твёрдая и как будто сухая от твёрдости ледяная струя. Вот только от её холода ты, наконец, просыпался и начинал что-либо соображать, например, узнавать лица тех, кто, пошатываясь и толком ещё не проснувшись, выходил умываться вслед за тобою.

А дальше — долгий, почти бесконечный, наполненный зноем, усилием и наслаждением день. Чаще всего я работал на каменной кладке; и навсегда моя левая кисть запомнила шероховатую тяжесть красного кирпича, а правая — трение рукояти строительного мастерка, который вминается в сочную мякоть раствора. А то глухое постукивание рукояти кельмы, каким ты осаживаешь кирпич? А дрожанье шпата-шнура меж двух “маяков” — этой струны, по которой равняется словно не одна только кладка, но выстраивается и весь распорядок рабочего дня? А быстрое шарканье мастерка, каким ты подбираешь “сопли” раствора с наружной версты, чтоб затем смачно швырнуть их в торец кирпича? Всё, что ты делал, — все ощущения, звуки, движения, запахи кладки (чего стоил один запах подмостей, то кисло-то-осиновый, то смолисто-сосновый!) — всё вызывало в тебе восхищение и наслаждение. Да что говорить! Наслаждение даже помочиться с подмостей на горячую кирпичную стену, высыхающую быстрее, чем ты её орошал...

А купание в коровьем пруду по пути на обед? Этот пруд был наполнен не столько водой, сколько илистой жижей, в которую стадо коров забредало, чтоб хоть немного остыть и укрыться от оводов. И вот сонные эти коровы, печально и шумно вздыхая, удивлённо глядели на то, как мы прыгаем в пруд, и как загорелые наши тела начинают лосниться от мутной воды, раскочанной нашим купанием меж берегами в засохших копытных следах. И наша тогдашняя юная радость от жизни была столь велика, что ничто — ни коровьи лепёхи, ни гул оводов, ударявших по нам, словно жгучие пули, ни чавканье илистой жижи под ногами, ни жара, ни усталость, ни жажда —

ничто не могло омрачить этой радости, не иссякающей, как поток того зноя, что лился на наши затылки и спины.

Обильный обед неизменно нас всех оглушал, и мы возвращались на стройку, как будто в бреду. Сразу вставать на кладку не было сил — да это было и небезопасно: а ну, как заснёшь, да и грохнешься с подмостей? Поэтому хоть на полчаса, но мы ложились вздремнуть в тени возводимой нами стены. Сейчас в это трудно поверить, но тогда, в двадцать лет, я мог заснуть не то, что на голой земле, но даже на куче битого кирпича. Упадёшь на неё, бывало, ничком, чуть поёрзаешь, чтоб углы кирпичей не слишком давили в лицо, и погружаешься в сон, почти столь же сладкий, как если б ты спал на пуховой перине. В том глубоком и кратком, как обморок, послеобеденном сне я сливался с кирпичною грудой, углы и грани которой как бы разрывали меня на десятки частей, но никак не могли разорвать окончательно. Сливался так же гармонично и полно, как и потом, ведя кладку, я душою и телом сливался с кирпичной стеной, на которую попеременно падал то раствор с мастерка, то пот с моего лица...

Сигнал, что пора завершать дневной цикл работ и собираться на ужин, служил гул компрессора дойки, который и возвещал всей деревне о наступлении вечера. Этот басовый звук был протяжен, печален, и мне, когда я слышал его, всегда становилось чего-то томительно жаль: то ли этой деревни, которая медленно погружается в сумерки, то ли стройки и возводимой нами стены, с которой мы расставались до завтра? Или мне было жаль себя самого, своей юности, которая в эти минуты достигала своей высшей точки, а значит, в каком-то уже скором будущем должна неизбежно пойти на убыль?

На ужин мы шли вдоль того же пруда, где купались сегодняшним полднем, но только коровы в нём уже не стояли (все были на дойке), и его зеркало было нежно-розовым от заката, всё ярче горевшего в небе. Столбы мошкары толклись в остывающем воздухе; пыль дороги становилась ощути-мо теплей, чем трава на обочинах — на неё уже пала роса, — и было радостно думать, что всё предвещает назавтра такой же безоблачный день, как сегодня, и что все вообще наши дни так похожи один на другой, как это бывает лишь в райской, забывшей о времени вечности.

После ужина сил оставалось только на то, чтоб облиться водой — всё у той же гудящей, дрожащей водоразборной колонки — и рухнуть на койки. И снова в ту же секунду, как ухо касалось подушки и закрывались глаза, в серых утренних сумерках слышался стрёкот будильника, и ты понимал, что пора подниматься.

А сейчас, когда я в бессонницу смотрю в мутно-серый прямоугольник ночного окна и слушаю мерную поступь часов, то иногда начинает казаться: ко мне возвратились те ночи, что были пропущены мной в стройотрядах. Тогда их, ночей, как бы не было вовсе; зато все они ныне настигли меня, и теперь восстановлено справедливое равновесие жизни...

СЧЁТЫ. Это был, в сущности, первый компьютер. Только, в отличие от невидимого кристалла кремния, на котором записываются невероятные объёмы информации, счёты могли сохранить в своей памяти очень немного. Да и память-то эта была лишь на краткое время, пока рука бухгалтера не встряхнёт громяхющие счёты, “обнуляя” их показания.

Но зато до чего ж осязаемым, зримым было на счётах любое число, состоявшее из округлых костяшек, с бодрым щёлканьем перебежавших по стержням справа налево и слева направо! Эти костяшки могли быть разными — и собственно костяными, и деревянными, и, позднее, пластмассовыми, — но они всегда были настолько приятны на ощупь, а щёлканье их настолько приятным на слух, что рука сама к ним тянулась, чтобы, пусть даже беспечно-бессмысленно, погонять их туда-сюда.

В созерцанье костяшек, бодро скользящих по стальным прутьям внутри деревянной рамы, мне порой чудилось нечто, что можно назвать “счастьем ограниченного существования”. Ведь этим костяшкам никогда не отклониться ни на миллиметр от предначиненной им траектории и не выскочить из

прямоугольной рамы; отчего же так весел бодрый их перестук, отчего он и нас заражает своим жизнелюбием и оптимизмом?

Почему-то припомнились вдруг индийские парии — те, кого я наблюдал, бродя по дорогам Индостана. Никогда и нигде, ни на чьих больше лицах я не встречал выражения столь же безмятежного счастья, как на лицах этих отверженных, чья земная судьба была так беспощадно очерчена рамками их “неприкасаемой” касты. Мало того, что они были голы и босы, — лишь какие-то тряпицы прикрывали их чресла, — так они ещё исполняли самые отвратительные работы, например, прочищали зловонные стоки канализаций. Но ничто — ни жалкая социальная роль, ни глубокая и непредставимая нам нищета, ни вонь и грязь, окружавшая их, — ничто не могло омрачить их блаженные лица и души.

Может, всё дело в том, что наше стремление к счастью всегда есть стремление к тому, чего мы лишены и чего, скорее всего, никогда не достигнем, поэтому само это наше стремление есть самый глубокий и постоянный источник несчастья? А вот если принять свою долю как нечто непоправимое и неизбежное, то не будет ли это хотя бы заменой и некой иллюзией счастья?

Подобные мысли не чужды и европейцам. Известное выражение Штатбриана (которое так любил Пушкин) гласит: “Если бы я ещё имел неосторожность верить в счастье, я искал бы его в неизменности житейских привычек”. Но что есть привычка, как не стремление к неизменности жизни, к тому, чтобы наше существование происходило в очерченных рамках и двигалось как бы по рельсам? И мы с вами, когда становимся счастливыми рабами привычек, не есть ли, по сути, костяшки бухгалтерских счётов, скользящие по неизменным стержням-направляющим жизни? Так что “счастье” и “счёты” не так уж и далеки друг от друга — даром, что ли, и в словаре они стоят почти рядом?

Мир, в котором отрывисто-бодрое щёлканье счётов было таким же обыденным звуком, как чириканье воробьёв во дворе, — этот мир был особо уютен. Заходишь, бывало, по какой-либо надобности в бухгалтерию и видишь там столы, стопки папок, разнообразные канцелярские приспособления — всякие там пресс-папье, дыроколы и скоросшиватели, — видишь затылки и спины склонённых над цифрами женщин и обязательно слышишь сухое и беглое щёлканье, напоминающее треск кастаньет. Так звучат счёты и числа, которые они отбивают. Порою одна из бухгалтеров встанет и скажет соседке: “Ты мои счёты не трогай — я там отложила...” — и выйдет за дверь. А ты будешь ждать какую-нибудь справку, всё более проникаясь сознанием и ощущением правильной жизни — тем, что можно почувствовать лишь в бухгалтерии. То есть в жизни реальной могло происходить всяко-разное, в том числе и очень неправильное; но здесь, под сухое щёлканье счётов, эта неправильность как бы просчитывалась и исправлялась. Дебет был слева, а кредит справа, и вся бестолковая путаность жизни незаметно смирялась, стихала под их костяной перестук. То, что всё — ну, почти всё — можно было пересчитать, разложить в строки сметы и вывести сальдо-остаток, само осознание этого сильно тебя утешало. Думалось: как бы сложен ни был окружающий мир, но куда-то вот здесь, в бухгалтерии, щёлкают счёты, пока числа сходятся — жизнь течёт в правильном русле.

И не вместе ль со счётами вдруг куда-то исчезло то ощущение правильной жизни — которая, как нам казалось, столь же незыблема и неизменна, как и костяшки бухгалтерских счётов, без устали подбивавших её, этой жизни, остаток?

ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА. Эта застеклённая будка была непременною частью городского пейзажа. Иногда — с дверцей, иногда — без неё, иногда — с телефонною чёрною трубкой, а иногда — с одним лишь обрывком шнура, сиротливо свисавшим с аппарата.

Нынешним, тотально “мобилизованным” (оснащённым “мобильниками”) поколениям трудно даже представить, что такое был телефонный разговор каких-нибудь тридцать лет тому назад. Особенно если переговоры были междугородными, и для них требовался специальный, телеграммой доставленный

вызов. Только вообразите: какая-нибудь старушка едет из своей деревни в райцентр, чтобы послать телеграмму сыну или внуку, вызывающую того через день или два на телефонные переговоры. А тот, получив телеграмму и кое-как выкроив время, в назначенный день добирается через весь город на переговорный пункт и ждёт там — вместе с десятками других ожидающих, — пока озабоченно-хмурая телефонистка (отчего, интересно, почти все они были тогда озабоченно-хмурыми?) крикнет в зал ожидания: “Конотоп, вторая кабина! Соединяю!” Тогда он подскочит, словно ужаленный, и, обмирая от нехороших предчувствий (“Господи, что же там с магушкой?”), кинется в эту вторую кабину и торопливо сорвёт с рычага телефонную чёрную трубку. И не забудем, что где-то на другом конце огромной страны мать-старушка (которой пришлось по хлябям и рытвинам родины вторично тащиться в райцентр) тоже взволнованно дышит в такую же чёрную трубку и ждёт не дожждётся, когда сквозь шум и трески к ней прорвётся невятный, далёкий, словно уменьшенный и расстоянием, и помехами, и собственной глухотой, родной голос сына. И ещё хорошо, если повод для разговора не слишком серьёзен, если всё обойдётся поздравлением с днём рождения или обменом обыденными новостями. А ведь может быть, что старушечий голос, закашлявшись, скажет: “Сынок, тут врачи меня давеча просветили и чего-то там в лёгких нашли... Говорят, нехорошее... Ты бы, что ли, приехал, сынок?”

Звонок из уличного телефона-автомата, конечно, не требовал таких усилий и затрат времени, как междугородный. Но были и в нём свои тонкости, сложности, хитрости — чего стоил один поиск “двушки”! Телефон позволял говорить лишь тогда, когда в щель монетоприёмника брошена двухкопеечная монета. А где найти “двушку” глухой, скажем, ночью, когда позвонить нужно, что называется, “до зарезу”? Так вот находились умельцы, которые двухкопеечную монету дырявили, привязывали её к тонкой леске и получали, таким образом, “вечную двушку”, которую можно вытаскивать из автомата и звонить, сколько душе угодно. Экономия, может, и не так велика — на двухкопеечных монетах не разбогатеешь, — но само осознание того, что человеку удалось перехитрить машину, конечно, приятно.

Правда, случалось, что и телефон-автомат оставлял нас в дураках, быть может, в отместку за хитрости, что мы иногда себе позволяли. Бывало, скормишь ему последнюю “двушку”, услышишь длинный гудок, наберёшь номер дрожащей от волнения рукой, услышишь тот единственный голос, который ты так желал слышать, и только-только начнёшь договариваться о свидании, как неожиданно с треском рвётся нить разговора, и ты остаёшься с безмолвной, глухой, бесполезной трубкой в руке. Но чаще, конечно, телефон-автомат помогал, чем мешал, и не будь телефонов, любовных свиданий в нашей юности было бы значительно меньше.

Не забудем и то, что телефонная будка представляла собой самый маленький дом, какой только возможен. Пускай его площадь и не достигала половины квадратного метра, но в нём были и стены, и окна, и крыша, и дверь, и пережидать, скажем, дождь, забежав (лучше с девушкой) в телефонную будку, приходилось едва ли не каждому. Так что большое спасибо тебе, телефонная будка, и за разговоры, и за свидания, и за краткий приют под июльским дождём, когда мутные стёкла в потоках воды скрывали прохожих от нас, а нас, целовавшихся в будке, — от взглядов спешащих по улице мокрых прохожих...

УБОРКА УРОЖАЯ. Бытовало ещё выражение: “битва за урожай”. И в ней каждую осень участвовала чуть ли не вся страна. Рабочие оставляли заводские цеха, студенты и школьники — учебные классы и лекционные аудитории, сотрудники разнообразных проектных или исследовательских институтов оставляли свои кульманы и лаборатории и всем народом выезжали в поля. И урожай-то — те, за которые бились, — получались, как правило, скромные; но даже их колхозники сами собрать не могли, и потому кличем: “Все — на помощь селу!” — каждую осень пестрели газетные полосы. Но когда в стране, исконно аграрно-крестьянской, из года в год происходит такое, ни о чём хорошем это не говорит. По сути, все эти бодрые лозунги,

и всё это ежеосеннее перемещение горожан в обезлюдевшие и спивающиеся деревни являлось судорогами советской империи, доживавшей последние годы.

Но мы-то, тогдашние студенты, — мы жили свои, далеко не последние годы; и вот это сложение нашей собственной юности с обветшанием и упадком страны, которая нас родила и взрастила, производило особое к ней, стране, отношение. Мы в глубине наших душ и стыдились её, и жалели её, и боялись расстаться с её чрезмерной — так нам досаждавшей! — опекой. Мы были словно детьми старой матери: уже некрасивой, одышливой, грузной, порой бестолковой, такой, с какой и по улице рядом стидно бывает пройти, особенно если ты сам ещё грубый, нечуткий подросток.

Вот мы и ездили убирать урожай, словно к той старой матери в гости. И всё, что нас там окружало, выглядело таким обветшалым, заброшенным, сирым, что сердце болело при виде всех этих коровников, по самые крыши утонувших в навозе, покосившихся изб и заборов, колхозных контор и машинно-тракторных станций, которые выглядели так, словно только что пережили жестокий артиллерийский обстрел. И слова “битва за урожай”, которыми нас вздохновляли, отправляя в колхозы, при виде всей этой разрухи получали ещё дополнительный смысл. Казалось, здесь и вправду недавно кипела какая-то битва — кого с кем и во имя чего, понять трудно, — но мы успели только к её завершению. И сейчас, вспоминая, как старый, разбитый вдрызг “Беларусь” (колёсный трактор, незаменимый в той непролазной грязи) тащил нас, студентов, в бортовой тележке на уборку картофеля, я отчего-то всех нас представляю почти похоронной командой, которая вышла на поле, где только что отгремело сражение. Когда, растянувшись цепочкой, мы медленно двигались вдоль его рытвин — сапоги вязли в грязи, руки зябли, а звон пустых ведёр печально разносился по полю, — когда мы, нагибаясь, подбирали картошку из вывернутых наизнанку пластов, потом ссыпали её в мешки и оттаскивали их на край поля, то эти мешки грязно-серого, как шинельное сукно, цвета и впрямь можно было принять за убитых солдат.

А окопы, которых так много встречалось по перелескам? А воронки от бомб, превратившиеся в озёра торфяной воды? А осколки, которые до сих пор там и сям всплывали из вязкой земли, корёжа барабаны картофелекопалок? А, наконец, те бесчисленные погосты Смоленщины — погосты, где жестяные звёзды перемежались покосившимися крестами, где ограды и обелиски ржавели и где процветала одна лишь рябина — да стаи дроздов, что слетались клевать её горькие гроздыя? Разве не было это следом войны — следом, ещё кровоточащим и не зажившим? Так что сравнение нас, медицинских студентов, с армейскою похоронной командой не выглядит слишком надуманным. А то, что мы были веселы и беззаботны, — так что же? Как известно, и Шекспир изобразил гробовщика весельчаком, что ничуть не мешало печальному его ремеслу.

Вообще те колхозы Смоленщины, куда мы, студенты, ездили убирать урожай, были местом, где всё изнашивалось, состарилось и обветшало настолько, что этот мир просто не мог не исчезнуть. Там изнашивались дома и ограды, поля и сады, изнашивались машины и люди — изнашивалось, кажется, и само время, которое больше уже не текло из прошлого в будущее, а сонно крутилось в каком-то застойном бреду безвременья. Больше того, почти всё, что я там видел, было не просто отмечено печатью износа или вырождения, а всё уже как бы исчезло и лишь по инерции и по привычке продолжало поддерживать иллюзию собственного существования. И люди, и флаги, и лозунги, и дома, и портреты вождей, и вообще все предметы, которые нас тогда окружали, — всё это давно существовало в прошлом, но только пока не догадывалось, что его уже как бы нет, и его место — разве что в этом вот словаре, который я начну писать тридцать пять лет спустя.

ФЛАГ СССР. В самых разных местах можно было увидеть этот красный трепещущий стяг с золотыми серпом и молотом в верхнем углу. Он развевался над крышами госучреждений и на флагштоках военных частей, ветер трепал его на корабельных мачтах, плеск его полотнища слышался над трибунами стадионов; а уж в дни демонстраций — ноябрьских или майских —

над шаговыми колоннами было просто не состоить алых флажков, транспарантов, знамён, от которых центральные улицы всех городов и посёлков казались охваченными пожаром. Даже карта тогдашней страны под названием “СССР” — и та походила на красное знамя, вольготно раскинувшееся по евразийскому континенту.

А пионерские галстуки? Ведь это символические лоскутки всё того же красного знамени, которыми были повязаны шеи всех без исключения тогдашних подростков от десяти до четырнадцати лет. Гладкий и холодящий пальцы шёлк пионерского галстука полагалось завязывать строго определённым узлом. Один конец галстука всегда получался примерно на треть длиннее другого. Так вот, нам объясняли, что длинный конец означал комсомольскую организацию, короткий конец — пионерскую, а широкий угол, лежавший на подростковой спине (и от которого как бы произрастали концы пионерского галстука), символизировал ни много ни мало Коммунистическую партию Советского Союза. Конечно, сейчас-то любой, хоть немного знакомый с историей знаков и символов, легко разглядит в алом треугольнике пионерского галстука след тайных лож вольных каменщиков (как, кстати, и во вездесущей тогда пентаграмме, пятиконечной звезде); но мы-то, подростки, об этом и слыхом не слыхивали. Мы знай носили, изо дня в день пионерские алые галстуки и тем неосознанно приобщались к сакральным глубинам, энергиям, тайнам страны, чьим символом являлось именно красное знамя.

А энергия этого знамени была в самом деле магической. Казалось, что с ним и под ним не страшна сама смерть. Пойти в бой под красным, как бы уже обогранным героической кровью знаменем считалось не просто возможным — желанным. И та кровь, что будет тобою пролита в бою, да и сама твоя жизнь будет совсем не заметна на фоне алого стяга, этого как бы потока огня, что струился, не иссякая и не тускнея, над любимой твоею страной.

Но в “застойные” годы эпоха героических порывов уже миновала, и разве только у киноэкрана, во время просмотра “Чапаева” или “Неуловимых мстителей”, наши сердца могли биться чаще при виде красного знамени. И роль вездесущего красного флага сводилась, скорее, к тому, чтоб огнём, символически в нём заключённым, обогревать и подбадривать города и вesi ветшающей, стынувшей и печальной страны. Без этого красного стяга — как бы костерка, трепещущего на ветру где-нибудь над сельсоветом или колхозной конторой — совсем бы уж было тоскливо в полях и на фермах, машинных дворах или на деревенских околицах. Но это был огонёк не занимавшегося, а уже догорающего костра — те последние головёшки, что дотлевали после революционного мирового пожара. И вот именно в деревенской глуши было видно, что страна красного знамени доживает последние годы, месяцы, дни и что наступают холодные новые времена...

ФОТОПЛЁНКА. То, что современное цифровое фото получается так легко — щёлк, и готово! Любуйся на самого же себя на фоне каких-нибудь пирамид или Колизея, — отняло возможность той кропотливой работы над снимком, которая превращала и сами съёмки, и все дальнейшие фотохимические манипуляции во что-то почти колдовское.

Прежде всего, число кадров на фотоплёнке было ограничено двумя-тремя дожинами, и поэтому никто не позволял себе роскоши щёлкать затвором фотоаппарата по любому пустяшному поводу. Нет, к каждому снимку фотограф готовился и каждый кадр старался выстраивать почти как охотник, выцеливающий добычу. Уже одно это повышало и качество снимков, и, как казалось порою, качество самой жизни — той жизни, за которой охотился человек с фотоаппаратом в руках. Почему бы и нет? Ведь отражение в зеркале, несомненно, влияет и на человека, что отражается в нём (проанализируйте, если хотите, свои встречи с зеркалом в собственной ванной или прихожей). Так и жизнь, отражённая умным, внимательным взглядом фотохудожника, будет иная, чем та же самая жизнь, отражённая пустыми глазами (или пустым цифровым аппаратом) бездарности.

А то, что долгое время мы знали лишь чёрно-белые фотографии, тоже имело большое значение. Ведь такое фото состоит из света и тьмы. А что

может быть глубже, чем сочетание того, что появилось и отделилось одно от другого уже в первый день творения? Конфликт — он же союз — тьмы и света является самым древним союзом-конфликтом на свете, поэтому так благородно и выглядят чёрно-белые снимки. Недаром настоящие мастера фотододела чтут именно чёрно-белые изображения, несмотря на возможности, что так изобильно и пёстро (как хитрован-коробейник на ярмарке) рассыпает пред нами цветной цифровой фотомир.

Но “отщёлкать” те двадцать четыре кадра, что содержались в пластмассовом чёрном цилиндре, оберегавшем фотоплёнку от света (помните, как мы боялись её засветить?) — это было полдела. Едва ли не главную часть работы настоящего фотолобителя были занятия в красных сумерках фотолаборатории: проявление плёнки, а затем печать самих снимков. Впрочем, “фотолаборатория” — сказано слишком громко. Чаще всего всё происходило в обыкновенной ванной комнате обыкновенной квартиры, где на верёвках вперемешку висели и детские пелёнки или ползунки, и сохнувшие фотоснимки, прихваченные за углы бельевыми прищепками.

Проявлять фотоплёнку самому мне не приходилось — я лишь присутствовал, как наблюдатель, при этом процессе, — но тем живее было во мне изумление от появления негатива, изображения, передразнивающего реальность. Чёрное становилось там белым, а белое — чёрным, светлые нимбы волос светились над непроницаемо-чёрными лицами с белыми точками глаз, и эта почти непристойная “вывернутость” реальности наизнанку была и забавна, и неприятна одновременно. Думалось: значит, и у всего вообще, что существует на свете, — у дерева, птицы, kota и собаки, у отца с матерью, у меня самого — есть теневой негатив?

Но, слава Богу, следующим этапом фотопревращений была печать снимков, при которой негатив обращался в свою противоположность, и мир, отражённый фотографом, обретал свой привычный — то есть позитивный — характер и облик. И загадочный этот процесс зачаровывал. Свет красной лампы превращал ванную комнату в какую-то сказочную пещеру волшебника; массивный фотоувеличитель отбрасывал жутковатую тень; а наши глаза неотрывно следили за прямоугольниками фотобумаги, что устилали дно плоской ванночки, где был налит проявитель. Довольно долго эти прямоугольники оставались невыразительно бледными (точней, красноватыми — всё вокруг было в красных тонах); но вот на них начинали проступать нечёткие тёмные пятна, сначала бесформенные и ни на что не похожие. Но с каждой секундой изображение словно всплывало к поверхности фотобумаги — точно-точно, как из глубины к нам всплывает какой-либо предмет, поначалу неразличимый и смазанно-смутный, но обретающий всё более чёткий и узнаваемый облик. И вот уж мы видели то, что так ждали и жаждали видеть: самих себя, наших близких и наших друзей в декорациях мира, так хорошо и давно нам знакомого, но ставшего как-то и ближе и лучше после того, как этот мир вошёл вместе с потоком лучей отражённого солнца в объектив аппарата, коснулся фотоплёнки, а затем лёг на волшебный лист фотобумаги. На наших глазах возникал целый мир; и он был не только похож, как две капли воды, на тот мир, который он отражал, но он был богаче и лучше него, ведь к реальности как таковой добавлялась душа и работа фотохудожника — и магия фотографической плёнки.

ЦЕНЫ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ. Бывает, как соберёмся мы, сверстники, так начинаем играть в ностальгическую игру, вспоминая, сколько что стоило в дни нашей юности. И дело, конечно, не просто в гимнастике памяти. Сама миновавшая жизнь воскресает в то время, когда кто-то, к примеру, мечтательно скажет: “А помните кильку в томате?” И ему тут же ответят: “Ну, как же, тридцать три копейки банка...” И перед каждым незримо вновь появляется та незабвенная килька и всё, что с ней связано: вечеринка в общаге, вино за рубль две, компания шумных студентов и запах “Красной Москвы”, окружающий девушку, что сидит рядом...

Игра начиналась с копейки; и каждый уверенно помнил, что за копейку в те годы можно было купить коробок спичек, стакан газировки без сиропа,

или кусок хлеба в столовой. Это надо же: за мельчайшую из монет ты получал одну из жизненно необходимых вещей: хлеб, воду, огонь. Само ли собой так оно получалось, или в этом сказалась мудрость властей, но то, что было всего нужнее — оно же и стоило меньше всего. Я уж не говорю о том, что самое важное — образование, медицина, жильё — было и вовсе бесплатным.

Согревшись, слегка подкрепившись и утолив жажду, — и заплатив за каждую из базовых ценностей всего по копейке, — чего мог желать человек? Правильно, приблизиться к духовному, например, к слову. И опять удивительный факт: возможность писать, читать и общаться стоила тоже очень немного. Имея в ладони двухкопеечную монету, ты мог за неё получить школьную тетрадь толщиной в двенадцать листов, простой карандаш (кстати, ластик, то есть резинка для подтирания ошибок, стоил тоже всего две копейки), почти любую газету из тех, что продавались в киосках “Союзпечати” и, наконец, две копейки стоил телефонный звонок из уличного автомата.

А три копейки — это была цена одного слова телеграммы тех лет. Я вот даже не знаю, а есть ли сейчас телеграммы? Наверное, мобильные телефоны и электронная почта уже совершенно их заменили и упразднили. А сколько всего было связано с телеграммами и телеграфом! В сущности, настоящее покорение человеком пространства и надежды на всеобщее счастье и благоденствие, связанные с прогрессом науки и техники, — всё это началось с изобретения беспроволочного телеграфа, охватившего нашу планету невидимой сетью. Так что “телеграмма” — это тема отдельной статьи “Словаря”; не забыть бы в ней упомянуть о наклеенных на телеграфный бланк лентах, о смешных сокращениях — “зпт”, “тчк”, — о выпавшем из-за экономии денег предложениях (“Приеду пятницу Вася”) и об угрожающем голосе почтальона, стучащего в дверь: “Вам телеграмма — откройте!”

Что можно было купить за четыре копейки? Правильно, троллейбусный билет. Но мы предпочитали проехать “зайцем” и сберечь эти четыре копейки на что-нибудь более нужное, например, на пресловутое “изделие номер два” — сиречь, презервативы. В упаковке их было две штуки; сложность заключалась лишь в том, что в те пуританские времена произнести в аптеке фразу: “Мне эти... ну, эти самые... презервативы...” — было почти так же трудно, как и предложить интим девушке.

А можно было потратить четыре копейки и на предмет вовсе невинный, скажем, на деревянную школьную линейку. Помните, как её верхний край всегда пачкался карандашным графитом, а делений шкалы часто было не разглядеть из-за многочисленных надписей или синих чернильных рисунков? Такою линейкой девчонки нередко били мальчишек (особенно тех, кто им нравился), а мальчишки, в свою очередь, старались привлечь внимание девочек, швыряясь в них с конца деревянной линейки комочками мокрой нажёванной “промокашки”.

Теперь у нас пять копеек. Что взять: стакан чая с лимоном, вкуснейший и упоительно пахнущий бублик — дырка от бублика прилагалась бесплатно — или не менее вкусный, поджаристый пирожок с повидлом? Или, за тот же пятак, проехать в битком набитом автобусе, где тебе сделают освежающий массаж (см. “Давка в автобусе”)? А если добавить к пятаку копейку, то можно стать обладателем большой кружки холодного кваса, без которого было так же трудно представить городское жаркое лето, как и без женских коленей под мини-юбками. Помните, как тополиный пух был скатан в жгуты возле сохнувших луж, как над жёлтою бочкою кваса всегда вились осы и как в мокрых гранях бокала отражалось твоё вытянутое лицо?

Каждая следующая копейка, прибавляясь к воображаемой сумме в нашей игре, приводит новые воспоминания. Ну вот, например, вспоминаю навскидку: семь копеек стоила порция фруктового мороженого (это был кусок сладкого льда в промокающем и начинающем капать бумажном стаканчике) или стрижка “под ноль” в парикмахерской, где запах зелёного одеколона “Шипр” неизменно бодрил посетителей. Восемь копеек стоил блокнот с откидными страницами или стержень для шариковой авторучки. Десять копеек — цена билета на утренний киносеанс. И ещё за десять копеек в любом “Гастрономе” можно было купить один из трёх видов сока — яблочный, сливовый или

томатный, — что наполнили высокие разноцветные конусы и лились в подставленные стаканы с мягким, пенящимся шипением.

И это мы с вами поднялись только до гривенника — сколько же воспоминаний оживут в нас, пока мы подберёмся к рублю! Но, справедливости ради, надо сказать, что самые яркие и живые воспоминания связаны именно с ценами мизерными: что оставалось дешевле, то чаще и покупалось, и прочней отпечаталось в памяти. Самым же главным, всеобщим и неизменным в те годы было чувство, что всё в окружающем мире доступно, что меж тобой и предметами (как и другими людьми) нет той преграды, что так болезненно ощущается ныне. И цены советской эпохи — условные, в сущности, цены, несколько не отражавшие ни истинной ценности, ни себестоимости многих услуг и товаров, — они-то как раз и стирали границы меж нами и миром вещей, и делали весь этот мир таким свойским, уютным, родным.

А то, что так называемый “ассортимент” был тогда много скуднее, чем ныне, — так разве же дело в ассортименте? Человеку, чтоб жить, нужно очень немного: простая еда и одежда, да крыша над головою и койка, где он может спать. А всё остальное — вот именно, что от лукавого! Ведь за то, чтоб иметь доступ к теперешним разнообразным витринам, мы платим в прямом смысле слова собственной жизнью, единственной и неповторимой. А эта цена, согласитесь, значительно выше, чем те пятаки или гривенники, что мы платили когда-то за хлеб и зрелища.

ЧИТАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК. Когда-то само собою подразумевалось, что человек — это и есть тот, кто читает. Мало того, что давно наступила эпоха всеобщей грамотности, но к чтению ещё и относились как к естественному состоянию, чуть ли не видовому признаку человека разумного. Слова “он много читает” были важнейшей положительной характеристикой; слова же “он не читает совсем” означали едва ли не умышленную деградацию.

Я не буду расписывать то, что мы видим вокруг себя ныне — вот эту именно что деградацию... Я лучше припомню те времена, когда книги любили, ценили, за ними охотились (а за иные даже сажали в тюрьму), где было обычным делом дать кому-то редкую книгу “почитать на одну ночь”... Только вдумайтесь: разве такое возможно сегодня? В те времена, где царил всеобщий и неутоляемый книжный голод — оттого, что на всех желающих книг не хватало.

Этот голод, вызванный, помимо огромного спроса на книги, ещё и действием цензурных ограничений, приводил к интересным явлениям. Например, в начале восьмидесятых годов прошлого века были распространены “талоны за макулатуру”. Сдав на пункте приёмки десятков-другой килограммов макулатуры — старых газет и журналов, картонных коробок, исписанных школьных тетрадей, — ты получал вместо денег талоны, которые можно было потом обменять на дефицитные книги. Так вот, этих самых талонов на руках у людей в скором времени оказалось так много, что нужных книг всё равно не хватало, и книголюбцы могли отстаивать в очереди за каким-нибудь романом Александра Дюма или Мориса Дрюона много часов на морозе, с чернильной отметкою номера на замёрзшей ладони, ревниво следя, чтобы кто-нибудь не просунулся вперёд них и не похитил бы вожделенное право овладеть редкой книгой.

А старики-букинисты? Это была особая, исчезающе-редкая каста людей, торговавших с рук книгами (это считалось тогда незаконным) и ведущих по-этому как бы полуподпольную жизнь. Попасть к ним в квартиру можно было лишь по рекомендации верного человека — тоже, разумеется, страстного книголюбца, — но даже тогда, когда ты проникал в жильё букиниста и жадно рассматривал книгу за книгой, ты всё время чувствовал на себе недоверчиво-мрачный взгляд старика. Он откровенно тебя ревновал к тем сокровищам, что дремали на полках его библиотеки. Этот старик существовал будто в ином измерении времени и параллельном пространстве, где жизнь соотносят не с общепринятым календарём, а с тою шкалой, где отметками служат названия книг, имена авторов, годы издания, — старик жил в мире, где само время двигалось не от года к году, а от одной книги к другой.

А “самиздат”? Так называлось распространение текстов в обход официальных каналов. Это было и вовсе запрещено — такое буквально грозило тюрьмой. Но всё равно “самиздат” жил и здравствовал; так, я познакомился с “Лолитой” Набокова именно по самиздатовской бледной копии, отпечатанной на копировальной машинке “Эра”. И это была даже не полноценная книга, а всего лишь пачка потрёпанных, серых бумажных листов. Но сочетание запретности копий с запретностью предосудительной темы, так виртуозно развёрнутой автором, делали эту пачку бумаги предметом таким же желанным, каким, наверно, было для Евы эдемское яблоко.

Впрочем, не одни лишь запрещённые, но и разрешённые книги неотразимо влекли нас к себе. Оказавшись в гостях у малознакомого человека, ты первым делом бросал взгляд на его книжные полки: подбор книг говорил о хозяине едва ли не больше, чем его речь и одежда. А книжные магазины — место особого притяжения: иногда ноги сами несли тебя в них, в нарушение всех твоих прежних планов, и ты надолго задерживался возле книжных рядов, перебирая, листая, читая и чуть ли не пробуя книги на вкус. Особенно привлекательны были книжные магазины в небольших городах и посёлках: там спрос на книги был всё-таки меньше, и имелись хорошие шансы найти что-либо стоящее. Не забуду книжного магазина в посёлке Тим — это родные места моих отца с матерью, — куда я приходил, едва он открывался, и потом проводил там целые часы, набирая тяжёлые стопки интересных мне книг (они, как почти и всё остальное в той жизни, были недороги). Мир тимского книжного магазина стал мне настолько родным, что я, кажется, целую вечность мог бы провести у его полок, глазами внимательно перебирая названия книг, а руками бережно листая страницы. Людей там было мало, а часто и не было вовсе, и ничто не мешало моим одиноким запылькам по книжному морю. И хотя это море было огромным, в глубине души жило чувство, что я обязательно его переплыву, то есть непременно прочту все те книги, которые дожидаются, пока я прикоснусь к ним, сниму с полки, поверчу так и эдак и начну перекидывать их страницы справа налево, чувствуя, как в моей голове — и моей левой руке — прибавляется тяжести от прочитанной книги.

Убеждение в том, что мир без книг и без чтения есть неполноценный, ущербный, неправильный мир, вошло в нас, что называется, с молоком матери. Да никто б из нас и не поверил, что такой мир возможен; представить, что книги исчезли из повседневного обихода, почти то же самое, что представить, как из воздуха исчез кислород: в такой атмосфере нельзя существовать. И даже короткое расставание с книгами переживалось мучительно. Например, в туристических наших походах — а уж походил-то я, слава Богу, немало! — едва ли не самым тяжёлым для меня был не холод и не дожди, не усталость и мошкара, а отсутствие книг. За две недели твои глаза, мозг, душа начинали так голодать и томиться без чтения, что, стоило оказаться где-либо близ человеческого жилища, ты жадно накидывался на любое печатное слово, которое подвернулось глазам, точь-в-точь как гоголевский Петрушка. Ты читал вывески магазинов и расписания поездов, обрывки газет, случайно попавших в руки, правила поведения в общественном транспорте, листки “Их разыскивает милиция” (с которых угрюмо смотрели похмельные глаза фотороботов) и даже рукописные объявления на фонарных столбах: “Продаётся полдома с участком” или “Пропала хромая собака без левого уха, отзывается на кличку “Дружок””...

Отчего же теперь я не только не вижу, не чувствую прежнего книжного голода и всё реже встречаю читающего человека? Экраны разнообразных гаджетов, как вы понимаете, в счёт не идут, там всё больше картинки или неграмотно-куцые SMS-сообщения. Настоящее чтение — вдумчиво-неторопливое, не скользящее по поверхности мозга, а проникающее в глубину души, — так быстро уходит из нашей жизни, что я начинаю бояться: а не уйдёт ли с ним вместе и сам человек? Неужели мы, люди, веками учились читать и писать, чтобы теперь разучиться?

И если такое всё же произойдёт, что ждёт и нас, и всю нашу планету? Вздохнёт ли она облегчённо, вторично впав в дикость, оставшись без докучавших ей — очень уж беспокойных! — учёных людей? Или, напротив,

одичавшая и бессловесная наша Земля — и мы вместе с ней, опичавшие и позабывшие грамоту люди, — будем томиться и тосковать по забытым словам и по надписям, сделанным человеком? Но кто, в таком случае, снова научит нас читать и писать, кто выведет — на песке, на доске, бересте или камне — “аз, буки, веди...”?

ШКОЛЬНАЯ ПАРТА. Таких парт, как раньше, в школах больше не встретишь, разве что в самой-самой глубинке. Называлась она “парта Эрисмана” (был такой врач-гигиенист, который её придумал) и была идеальной школьной партой.

Попробую описать её — с виду простое, но до мелочей продуманное устройство. Эрисмановская парта была рассчитана на двух учеников и являла собою наклонный стол и скамью, неподвижно соединённую с ним. Чтобы удобнее было садиться — скамью ведь не отодвинешь! — в наклонной столешнице были сделаны откидные крышки, дружный грохот которых оглашал класс дважды за урок: в начале, когда все вставали при появлении учителя, и в конце, когда школьники радостно рвали на перемену. Для портфелей и ранцев под верхнюю крышкой были сделаны полки, а для беспокойных ног учеников имелись упоры. Чтобы тетради или учебники не соскальзывали с наклонной поверхности (а её уклон был вызван заботой о детских глазах), специальные бортики подпирали тетрадь снизу. Что ещё? Да, для карандашей или ручек поверху парты шёл желобок, а для чернильниц имелись круглые выемки, их дно и стенки всегда были синими от пролитых чернил.

Парты были трёх разных размеров. Те, что поменьше, ставились в младших классах или в первых рядах, где за ними обычно сидели, поблёскивая очками, отличники; а большие задние парты предназначались для двоечников-второгодников, они назывались “Камчаткой”, что ещё раз напоминало о необъятности той огромной страны, в которой мы жили.

Главным качеством школьной парты была её несокрушимость. Что только не делали с ней! И резали перочинными ножиками (как было не нацарапать на крышке соседа: “Петя дурак” или “Вася + Маша = любовь?”), и пинали ногами, и двигали туда-сюда, и вскакивали на парты, и пробегали по ним, грохоча и визжа, и роняли на них всё, что только возможно, от портфелей до собственных тел — эрисмановской парте было всё нипочём. Ряды парт несокрушимо стояли посреди бушующей, плещущей через край юной жизни, как береговые утёсы над бурным морем, и его волны, как бы они ни ярились и ни пенились, но всегда, в конце концов, успокаивались около них. Стоило трели звонка огласить коридоры, каждый бежал к своей парте, словно матрос, занимающий место на вантах и реях по свистку боцмана. И раз уж мы с вами прибегли к морским метафорам, то не сравнить ли нам парту и с кораблём, на котором мы, школьники, отправлялись в плавание к самому неизвестному из неизвестных морей — к нашей будущей жизни?

Но будущего тогда никто не боялся, и все ожидали от него только хорошего. А может быть, в том юном бесстрашии, в той беззаботности и доверии к жизни, с какими мы начинали наш путь, была заслуга и школьной парты? Сама её несокрушимость, сама её честная простота и добротность устройства, её откровенность, надёжность и сила — всё это, вместе взятое, словно нам говорило: ребята, не бойтесь! Ну, что может с нами случиться, когда мы плывём на таком абсолютно непотопляемом корабле? И будущее, в которое мы отправлялись, казалось нам чем-то простым и надёжным, понятным, удобным и добрым, чем-то похожим на школьную парту.

Но воспоминание о парте, сравни её хоть с кораблём, хоть с утёсом, хоть с чем угодно, будет неполным без самого, может быть, главного — без воспоминаний о той девочке с бантиками, что сидела рядом с тобой. Тогда было принято рассаживать учеников именно так — мальчик с девочкой, — что, конечно, имело глубокий воспитательный смысл. Ещё с первого класса мы твёрдо усвоили: рядом с мужчиной должна быть женщина. Правильно, именно так; может быть, как раз это начальное знание, отражающее метафизику половых отношений, и позволило нам, сидевшим когда-то за правильной

школьной партией, воспринимать все позднейшие и новомодные извращения пола именно как извращения, как нарушение завета, который был некогда дан.

Вы, может, спросите: а помню ли я свою первую девочку — ту, с которой делил нашу первую парту? Ну, ещё бы! Её звали Надя Пилькова. Живые карие глаза, пальцы в синих чернилах, и она была очень смешлива. И вот эти смешливость и живость, бесконечное верчение и ёрзание, быстрый шёпот, хихиканье — даже во время урока — это всё бесконечно меня восхищало. Я словно видел и чувствовал рядом с собою (конечно, пока этого не сознавая) саму ту живую и непостоянную женскую сущность, к которой потом, всю дальнейшую жизнь, я буду испытывать неугасающий интерес и влечение. И хоть Наде Пильковой было всего только семь лет, честно скажу, что я мало встречал в своей жизни настолько же милых и женственных женщин. До сих пор моё сердце ноет, когда я вспоминаю её живой взгляд и быстрые тонкие пальцы в синих пятнах чернил...

Как и положено первой любви, Надя Пилькова исчезла из моей жизни так же стремительно и необъяснимо, как она в ней и появилась. Кажется, её отец был военным, его куда-то перевели, и уже через несколько месяцев место рядом со мной пустовало, а сердце мучилось горечью первой любовной разлуки. Конечно, потом за моей партией сидели другие девочки, и очень даже хорошие, но куда им всем было до первой соседки!

И вот теперь, постаревший, тяжёлый, уставший от жизни, я мысленно восклицаю: “Где же ты, Надя Пилькова?” Смеёшься ли ты так же быстро, легко, беспричинно, как прежде, отмылись ли синие пятна чернил с твоих пальцев, и вспоминаешь ли ты иногда — если, конечно, ты ещё в этом мире — и школу, и первую парту, и мальчика, что восхищённо смотрел на тебя?..

ЮНОСТЬ. Была ли она вообще? Иногда кажется, что я встречаюсь с ней только теперь, когда её вспоминаю; тогда же, когда я и в самом деле был молодым, я словно с ней разминулся — и не заметил её.

В юности некая словно печать озабоченности и тревоги лежала на мне, мешая той непосредственной и беззаботной радости жизни, которая, как мне кажется, есть неотъемлемый признак молодости. Может, так проявлялась родовая особенность личности: я в этом похож на свою хлопотливо-тревожную мать, а она — на свою. Видно, наш род с давних времён несёт этот груз тревоги о жизни, передавая его из поколения в поколение. А может, забота, которая не отпускала меня даже в юности, была проявлением той самой “заботы”, которую Хайдеггер считал самым важным, экзистенциальным признаком человека вообще — тем изначальным проклятьем, с каким он явился в сей мир?

Но, как бы то ни было, моя молодость, когда она воспринималась мной изнутри, из неё же самой, была уже зрелостью, если не старостью. Я слишком часто бывал и задумчив, и грустен, и почти всегда одинок. Нет, конечно, общение-то было, и разные люди крутились вокруг постоянно — ведь я жил в общежитии, в комнате на семерых: какое уж тут одиночество! — но это поверхностное общение напоминало мелкую рябь на поверхности моря, ничуть не волновавшую тёмной его глубины.

О чём же я так тревожился, чем был озабочен? Честно сказать, я не знаю ответа. Глядя со стороны на свою тогдашнюю жизнь, как я гляжу на неё, завершая этот словарь, я вижу, что заботиться или тревожиться мне было, в сущности, не о чем. Учился я хорошо и легко, был неплохим бегуном — одно время даже возглавлял институтскую сборную, — денег на жизнь хватало с избытком — и стипендия, и то, что мы зарабатывали в стройотрядах, обеспечивало нам безбедное существование, — девушки относились ко мне в целом неплохо и не всегда отвергали попытки добиться их благосклонности. Так какого ж рожна мне ещё было нужно, отчего я так часто грустил, и вся жизнь представлялась мне полной неясных угроз?

Зато после — вот странное дело! — по мере того, как я погружался во вполне уже взрослую жизнь, до предела наполненную заботами и трудами, когда я начал работать врачом и изучал хирургию уже не по книгам и атласам, а ночами в приёмном покое и в операционной, потом обзавёлся семьёй,

которую надо было кормить и неустанно о ней заботиться, потом начались те тяжёлые смутные годы, когда по целым месяцам нам не платили зарплату, и выживали мы тем, что выращивали картошку в овраге, неподалёку от дома, тогда, когда это всё на меня навалилось, и от бесчисленных этих забот и тревог могла, что называется, “съехать крыша”, вот тогда-то я стал понемногу учиться бывать беззаботным и радостным.

А уж когда на меня навалился ещё и мой собственный возраст, и одряхлевшее тело из многолетнего друга-помощника превратилось, ну, если и не во врага, то в обузу, которую надо тащить, как тяжёлую ношу, тогда-то и во все мне стало легко. Я сказал себе: ну, слава Богу, жизнь почти прожита — о чём же теперь волноваться?

И я, как ни странно, но ощутило помолодел. Не внешне, конечно, — стоя у зеркала, я порой не понимаю, что это за седобородый и лысый старик так внимательно вглядывается в меня? — но внутренне я порой ощущаю свободу, лёгкость и радость, которых мне так не хватало когда-то и которые, как я понимаю, и есть настоящие признаки юности. Недаром пословица нам говорит, что молодость приходит с годами; вот, похоже, она и пришла, вернее, старость сама привела её за руку, чтобы ей, старости, не было так одиноко...